

АРТЕМ ПОНАСЕНКО

Мелодия Журавля



РОМАН О МУЗЫКЕ, БОЛИ И ЛЮБВИ

Артем Понасенко

Мелодия Журавля

<https://litres.ru/73241152>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Мелодия Журавля» — это не история о болезни или чудесном исцелении. Это глубокая, честная сага о том, как три сломленных человека — упрямая бабушка, бегущая мать и немой сын — учатся слышать друг друга за пределами слов. О том, что ограничения — это не стены, а просто иная география души. О двух видах любви: одна кричит миру о твоей исключительности, а другая молча, по кирпичику, строит для тебя новый мир.

Это роман о том, как найти свой голос в безмолвии, принять свою уникальную траекторию и понять, что настоящий полёт начинается не с разбега, а с мужества остаться собой. Даже если твой путь лежит не по небу, а по земле, и твои крылья сплетены из тишины и надежды.

Артем Понасенко

Мелодия Журавля

Глава 1. Витрина

Стекло было холодным, даже сквозь летнее марево, поднимавшееся от асфальта. Иван прижал к нему ладонь – свою правую, сжатую в вечном, знакомом до боли напряжении, – и почувствовал лёгкую вибрацию. Изнутри магазина шёл Бах, что-то из сюит для виолончели, и витринное стекло, тонко и послушно, гудело в такт низким нотам. Он задержал дыхание, пытаясь поймать этот почти неосязаемый резонанс, отличить его от общего гудения города. Получалось плохо. Город, даже тихий и провинциальный, как этот, никогда не молчал. Так же, как никогда уже не молчала боль – тихая, фоновая, ставшая частью его нового биологического ритма, воспоминание о металле, сминающемся, как бумага, и о стекле, рассыпающемся на тысячи неоновых осколков в ночи два года назад.

Он смотрел на своё отражение, наполовину перекрытое наклеенной изнутри яркой афишей: «Всероссийский конкурс молодых композиторов «Новые голоса». Приз – стажировка в Московской консерватории. Последний срок подачи заявок – 30 августа». На афише был изображён силуэт взле-

тающей птицы на фоне нотного стана. Журавль. Или аист. Иван не был уверен. В его жизни теперь было много такой неуверенности. Он помнил, как раньше мог с ходу, с первого звука, определить не только птицу, но и её настроение, здоровье, направление полета. Теперь эти знания лежали под толстым слоем морфинового тумана и последующей болезненной ясности, которая оказалась ещё невыносимее.

Его собственный силуэт, наложенный поверх этой птицы, казался призрачным и чужим. Освещение в витрине было выставлено так, чтобы играть на глянце роялей и лакированной поверхности скрипок, а не для того, чтобы льстить прохожим. Резкая верхняя подсветка ложилась на его высокие скулы, углубляя тени под глазами, делая лицо старше его девятнадцати лет. Но это было не то лицо, которое он знал. Левая щека была рассечена тонким, почти невидимым шрамом – подарком лобового стекла. Левая бровь чуть приподнята вверх небольшим рубцом, создавая постоянное выражение лёгкого, болезненного удивления. Волосы, непослушные и тёмные, как у матери (он помнил по старым фотографиям), падали на лоб, скрывая ещё один шрам на виске. Он видел своё тело – его неуклюжую позу в инвалидной коляске, асимметрию плеч (правое так и не восстановилось полностью после сложного перелома), характерный наклон головы, который был не привычкой, а необходимостью – так меньше болела шея. Видел, как его отражённая рука лежит на стекле, пальцы сведены не врождённой спастической су-

дорогой, а приобретённой, нейрогенной контрактурой, следствием повреждения спинного мозга на уровне грудного отдела. Нечто среднее между кулаком и когтями, инструмент, отказывающийся слушаться. Он не ненавидел это отражение. Он ещё не успел к нему привыкнуть. Он изучал его, как изучал бы сложный, незнакомый, сломанный инструмент, который предстоит настроить заново, зная, что прежнего строя уже не вернуть. Инструмент, на котором нельзя играть привычным способом, но который, быть может, способен издавать звуки, недоступные другим.

Бах сменился Моцартом. Лёгкая, игривая соната. Стекло перестало вибрировать так явно. Иван оторвал ладонь от поверхности, оставив мокрый, расплывающийся отпечаток. Он откатился на пол-оборота назад, чтобы лучше видеть не себя, а то, что было за стеклом. Там, внутри, оставался мир, который когда-то был и его миром. Мир, в котором он двигался, бежал, касался струн гитары пальцами, которые чувствовали каждую вибрацию, пел, смеялся громко, не думая о том, как звучит его голос.

Сердцем магазина был рояль. Не новый, блестящий, а старый, «Красный Октябрь», с потертой, но от этого ещё более благородной полировкой цвета венге. На открытой крышке лежала бархатная подкладка чуть выцветшего малинового оттенка. Он представил, как должен был бы звучать этот инструмент – не ярко и звонко, как новые японские или немецкие модели, а густо, глубоко, с лёгкой хрипотцой в басах,

как голос старого, много повидавшего актёра. Он мысленно прикоснулся к клавишам, представил их отзвук, и его правая рука непроизвольно дёрнулась, пальцы побежали по воображаемой гамме в воздухе. Судорожно, рвано, не так, как это сделал бы живой пианист. Но в его голове эта гамма звучала идеально, переливаясь, как струя воды на солнце. В его голове всё ещё звучало идеально. И это было и благословением, и проклятием. Он помнил, каково это – управлять звуком. Но его тело забыло.

Рядом с роялем, на стене, висели скрипки. Они напоминали ему засушенных бабочек в коллекции – хрупких, прекрасных, застывших в ожидании прикосновения, которое вернёт их к жизни. Он знал, как должна звучать каждая из них, просто глядя на форму дек, на изгиб грифа. Узкая, с вытянутыми «плечами» – голос будет высоким, чуть пронзительным, под стать сопрано. Более пологая, с округлыми боках – звук будет бархатным, альтовым. Этому знанию его научила не только практика (а её было немало до аварии), но и тысячи часов погружения в мир, где тело было послушным проводником между замыслом и воплощением. Теперь проводник был повреждён. Но приёмник – его слух, его внутреннее чутье – стало лишь острее, болезненнее. Он слышал слишком много. Каждый фальшивый звук резал его, как тот самый осколок стекла.

Прохожий – пожилая женщина с авоськой – бросила на него короткий, привычно-сочувственный взгляд и прошла

дальше. Иван её почти не заметил. Его мир в этот момент сузился до витрины, до отражения, до музыки из динамиков и до тихого, но настойчивого гула жизни за спиной. Гула, в котором он теперь участвовал только как слушатель, как статист.

Гул трамвая. Старая «Татра», шедшая по маршруту №3, скрежетала на повороте за углом. Звук был многослойным: визг стальных колёс о рельсы, дребезжание стекол в вагоне, низкий рокот двигателя, приглушённые голоса пассажиров. Он мысленно вычленил каждый слой, присвоил ему высоту и тембр. Визг – это фальцет скрипки, на самом пределе. Дребезжание – тремоло маракасов. Рокот – pedalная нота контрабаса. Голоса – далёкий, неразборчивый хор. Раньше он мог бы записать этот звук на диктофон, потом разобрать на треки, создать из него ритмичную, урбанистическую композицию. Теперь он мог только слушать и складывать звуки в воображаемые папки своей памяти. Его руки больше не повинуются командам с нужной скоростью и точностью. Но его взгляд... его взгляд стал его новыми пальцами. И ноутбук с айтрекером, купленный бабушкой на деньги от продажи чего-то очень дорогого (он боялся спросить, чего именно), давал этим воображаемым пальцам голос.

Шорох листьев на единственной уличной липе. Лёгкий ветерок, донесший запах нагретого асфальта и чьей-то жареной картошки. Скрип шагов по песку – кто-то шёл по дорожке парка через улицу. Раньше он и сам мог бы так скри-

петь песком, торопясь на репетицию своей школьной рок-группы. Теперь скрип доносился со стороны, и в нём была чужая, недоступная ему энергия движения.

И своё собственное дыхание. Неровное, чуть напряжённое, иногда со свистом – следствие травмы грудной клетки и долгого нахождения на аппарате ИВЛ. Он сосредоточился на нём, сделал его метрономом. Вдох – пауза – выдох. Вдох – пауза – выдох. Не идеальный ритм, но живой. Его новый ритм. Ритм человека, выжившего, но оставшегося в долгу у жизни, которая потребовала в качестве платы слишком много.

И тут, поверх всего этого, из магазина полилась новая мелодия. Не классика. Что-то современное, электронное, но с вкраплениями фортепиано и... да, это же звуки поля, записанные с натуры! Жужжание шмеля, переливы жаворонка, шелест ковыля на ветру. Композитор ловко вплетал их в синтетическую ткань трека, создавая странный, но цепляющий гибрид.

Иван замер. Его внутренний слух, его личный, безошибочный камертон, насторожился. Да, технично. Да, модно. Но фальшиво. Глубоко фальшиво. Потому что шмель на записи жужжал в тональности до-мажор, а в жизни его жужжание – это диссонанс, сложный обертоновый ряд, не укладывающийся в привычные лады. Потому что шелест травы был подстрижен и уложен в ритмическую сетку, лишённую случайности, а значит, и жизни. Это была красивая подделка.

Картина природы, написанная человеком, который видел её только на фотографиях. Он же видел её вживую. Помнил запах нагретой солнцем травы, ощущение колосков на ладони, давящий зной, от которого кружилась голова. Всё это было до. До аварии. До этой проклятой ночной поездки за город, которая должна была быть весёлой и беззаботной.

Он не мог этого объяснить словами. Слова были не его стихией теперь вдвойне. Они выходили из его рта медленно, с трудом, спотыкаясь о спазмы мышц гортани и о рубцовую ткань, оставшуюся после трахеотомии. Его речь была тихой, хриплой, растянутой. Каждое слово приходилось вытаскивать, как из трясины. Но внутри... внутри его ум был острым и быстрым, а слух – абсолютным и беспощадным судьёй, обострившимся после катастрофы, будто в ущерб другим чувствам.

«Я мог бы лучше», – подумал он, и от этой мысли по телу пробежала знакомая, колючая волна не стыда, а ярости. Бессильной, глухой ярости. Он, прикованный к коляске, с телом, которое предало его, с голосом, который изменился до неузнаваемости, осмеливается думать такие мысли о, вероятно, успешном и талантливом человеке, чья музыка звучит в магазине. Но эта мысль была не высокомерием выжившего. Это была констатация факта. Он знал звук. Настоящий звук. Он знал, как рождается музыка из хаоса жизни, а не из стерильных семплов в библиотеке. Но его инструменты были отняты. Остались только уши, мозг и эта странная, новая

связь между взглядом и машиной.

Но это была правда. Он слышал музыку иначе. Он слышал её изнутри звука, а не сверху. Он не строил мелодии, он находил их – в ритме дождя по крыше, в перекличке дворовых собак, в бормотании старого телевизора у соседей за стеной. Его бабушка, Анна Ивановна, называла это «особым слухом». А ещё раньше, когда он лежал в реанимации между жизнью и смертью, а врачи с осторожными лицами говорили о вероятной вегетативности, она, сжимая его бессильную руку в своих тёплых, шершавых руках, говорила что-то, что стало его внутренней мантрой, щитом от отчаяния и чужих взглядов, полных не жалости, а любопытства к «тому парню, который разбился насмерть, но выжил».

Он закрыл глаза, чтобы лучше слышать, и её голос возник в памяти сразу, чёткий и ясный, перекрывая электронные переливы из колонок.

Реанимация. Белый кафель, резкий запах дезинфекции и крови. Ему семнадцать. Он прикован к паутине трубок и проводов, а какой-то доктор в зелёном халате, с усталым лицом, говорит бабушке что-то тихо, но он всё равно слышит сквозь наркотический туман: «...тяжёлая черепно-мозговая травма, повреждение спинного мозга... речь, скорее всего, будет сильно нарушена... перспективы сомнительны... скорее всего, будет прикован к коляске...»

Анна Ивановна стоит очень прямо. Она в том самом синем домашнем халате, в котором он видел её последний раз

перед той роковой вечеринкой. Она не перебивает. Дождидается, когда доктор закончит. Потом подходит к кушетке, кладёт руку ему на лоб, не боясь всех этих датчиков и капельниц. Её ладонь пахнет домом – щами, книгами и геранью на окне. Запах жизни, которая ждёт его где-то за стенами этой стерильной коробки.

– Спасибо за информацию, доктор, – говорит она голосом, которым когда-то, наверное, вызывала к доске нерадивых учеников. – Но вы ошибаетесь в главном. Мой внук не овощ. – Она делает паузу, глядя прямо в глаза врачу, а потом поворачивается к Ване, и её взгляд становится мягким, тёплым, как это прикосновение ко лбу, пробивающееся сквозь морфиновый бред. – Мой внук просто попал в аварию. Его ритм сбился. Но сердце-то бьётся. Особое сердце. И ему предстоит услышать музыку, которую другие не услышат никогда. Ту, что рождается не в движении, а в тишине после падения.

Он открыл глаза. Отражение в витрине снова было перед ним. Но теперь он смотрел не на шрамы, не на кривизну плеч, не на коляску. Он смотрел в свои собственные глаза. Серые, с густыми ресницами, с новыми морщинками у висков от постоянного усилия и боли. Глаза матери, но со своим, новым выражением. В них сейчас не было ни жалости к себе, ни гнева. Была только сосредоточенная, почти научная внимательность, выстраданная за месяцы неподвижности, когда единственным занятием было слушать – себя, палату, город

за окном больницы. Та самая внимательность, с которой он теперь слушал мир, потому что другого способа взаимодействовать с ним почти не осталось.

«Особый ритм сердца», – повторил он про себя, беззвучно пошевелив губами. Бабушкины слова за два года не потускнели. Они были не ложной сладостью, не утешением. Они были инструкцией по выживанию. Точной, как математическая формула. Он был не «инвалидом-колясочником после аварии». Он был Ваней Соколовым. Человеком, который выжил и который слышит иначе. И этот дар – а он заставлял себя считать это именно даром, тяжёлым и неудобным, но своим – родился из его катастрофы. Чтобы слышать тишину между нотами, нужно пережить свою тишину, длящуюся неделями в палате интенсивной терапии. Чтобы чувствовать ритм города, нужно быть навсегда отстранённым от его бега. Чтобы понимать музыку боли, нужно знать боль на вкус, на запах, на ощупь, нужно слышать её тиканье в собственных повреждённых нервах.

Он ещё раз взглянул на афишу. «Новые голоса». Его голос был новым? Да, потому что старого больше не существовало. Тот Ваня, который пел и играл на гитаре, умер в той машине. Этот – молчал или говорил с трудом. Но внутри рождался другой голос, собранный из обломков. Был ли он нужен кому-то, кроме бабушки? Не знал. Мечтал ли он о сцене, об аплодисментах, о стажировке в консерватории? Раньше мечтал. Теперь... теперь мечта была другой. Мечта – это когда

ты представляешь что-то яркое, цельное, законченное. Он не мог представить себя на сцене в коляске, под сочувственными или любопытными взглядами. Он мог представить только звук, вырывающийся из динамиков в полной темноте зала. Звук, который будет говорить за него. Голос его нового, особого ритма. Голос человека, который упал, но не разбился вдребезги, а собрался в новую, странную конфигурацию.

Солнце сместилось, и луч, отразившись от какой-то машины, ударил прямо в витрину, ослепив его. Отражение расплылось в золотом мареве. Он отвел взгляд, потянулся к джойстику коляски, движение это было уже привычным, но каждый раз отдавалось горьким осадком – воспоминанием о том, как легко раньше поворачивалось рулевое колесо той самой, роковой машины.

Пора было домой. Бабушка, наверное, уже начала волноваться. А сегодня, он помнил, у них был ритуал. Она получила пенсию и сказала, что купит «чего-нибудь вкусенького к чаю». А потом они сядут в её комнате, где пахнет старыми книгами и лавандой, он подключит ноутбук к колонкам, и она будет слушать его последнюю работу – попытку передать звучание летнего грома, надвигающегося с окраины города. Он ещё не был доволен финалом. Нужно было добавить один элемент... может быть, звук трескающейся под напряжением ветки? Или тот самый свист воздуха в разбитом окне, который он записал когда-то на старый телефон и чудом сохранил? Нет, это было бы слишком личным, слишком болезнен-

ным. Его музыка пока не была готова к такой откровенности. Она была о внешних бурях, а не о внутреннем крушении.

Он развернул коляску и медленно поехал вдоль улицы, мимо одноэтажных домиков с резными наличниками, мимо затёртого до дыр памятника Ленину, мимо гастронома «Рассвет», откуда пахло тмином и солёными огурцами. Его слух, как большой, чуткий радар, продолжал сканировать округу. Это был его новый способ передвижения – не ногами, а вниманием.

Дети кричали в песочнице – визгливый диссонанс радости, от которой у него сжалось сердце. Он больше не мог бегать.

Из открытого окна первого этажа лилась популярная поп-песня – простой, навязчивый бит и синтетические струнные. Раньше он мог бы сыграть её на гитаре сходу. Теперь он лишь слышал её примитивную гармоническую структуру.

Где-то стучал молоток – чёткий, одинокий ритм, похожий на метроном. Ритм чужого труда, чужого созидания.

Скрипели качели на ржавых цепях на пустой детской площадке – звук одиночества, протяжный и немного жутковатый. Звук пустоты, которую он теперь знал слишком хорошо.

Он собирал эту звуковую мозаику, как собирал бы драгоценные камни, упавшие с разбитой вазы его прежней жизни. Каждый звук имел свой цвет, свой вес, свою эмоциональную окраску. Поп-песня была пластиковой, ярко-жёлтой и пустой. Стук молотка – тёмно-коричневым, деревянным, де-

ловитым. Скрип качелей – выцветшим серо-голубым, цветом старых слёз и забытых игр, в которые он больше не мог играть.

Дом их был на самой окраине, в пятиэтажной хрущёвке, которую время и отсутствие капитального ремонта скособо-чило, как кривой зуб. Но Иван любил этот дом теперь с новой, болезненной силой. Это было его убежище после выписки, его крепость, где он мог не видеть чужих взглядов. Он знал каждый его новый звук: как скрипит не подмазанного пандуса, который поставили год назад (спасибо бабушке и её неукротимому напору), как гудит новый, более тихий холодильник, купленный на страховку, как шуршит мышка под его левой рукой, которой он научился более-менее управлять для простейших действий. Здесь, в этой квартире, он начал своё новое путешествие по мирам, которые строил не из движения, а из звуков, зафиксированных взглядом.

Он подъехал к подъезду. Пандус был, но крутой, из дешёвого рифлёного железа. Преодолевая его, коляска визжала и подсакивала на стыках. Каждый раз это напоминало ему о том, как мало мир думает о таких, как он. Он нажал кнопку домофона.

– Я, баб, – сказал он, стараясь выговорить чётче, но получилось всё так же смазано и хрипло.

Щелчок замка был ему ответом.

Через минуту на площадке появилась Анна Ивановна. Невысокая, плотная, но за последние два года как-то осо-

бенно осунувшаяся, с ещё более глубокими морщинами у глаз. Она была в привычном синем домашнем халате в мелкий цветочек, но поверх – уже не стёганая безрукавка, а тёплый кардиган, хотя на улице было лето. Её руки теперь часто мёрзли – сказывались возраст и постоянное напряжение. Её лицо, испещрённое морщинами, как старинная карта всех их общих бед, расплылось в широкой, тёплой улыбке, которая не могла скрыть усталости в уголках губ.

– Ванюша! Где пропадал? Я уж думала, тебя цыгане в том магазине за гитарами купили! Хоть бы позвонил!

Она ловко, привычным движением взялась за ручки коляски и помогла ему заехать в подъезд, преодолев высокий порог. Мускулы на её руках напряглись. Она стала сильнее, физически сильнее, за эти два года. Он видел, как она таскает сумки, как двигает мебель, чтобы ему было проще проехать. Его бабушка стала его сиделкой, его ногами, его защитником. И это знание жгло его изнутри чувством вины, которое было почти таким же острым, как физическая боль.

– Смот... смотрел, – выдавил он, цепляясь за поручни, пока коляска с лёгким стуком преодолевала последнюю неровность.

– На афишу? – уточнила бабушка, запыхавшись. Она закрыла дверь, и полумрак подъезда, пахнувший сыростью и котом, поглотил их. – Конкурс этот? Тот, про который в газете писали?

Он кивнул.

Она помолчала, переводя дух, потом погладила его по стриженным вихрам – короткая стрижка была вынужденной, из-за швов на голове.

– Знаешь, что я думаю? – сказала она, и в её голосе зазвучали знакомые, непоколебимые ноты, которые держали на плаву их обоих после катастрофы. – Если захочешь – сделаешь. Но только если сам захочешь. Не для меня. Не чтобы доказать что-то врачам или тем... тем ребятам из твоей прошлой жизни. Для себя. Понял? Ты уже доказал всем, что ты живой. Теперь докажи себе, что ты... творец. Даже таким.

Он снова кивнул, чувствуя ком в горле. Он понял. Она всегда давала ему этот выбор. Не заставляла «радоваться, что жив». Не давила жалостью. Просто создавала пространство, в котором он мог быть собой. Даже если этот «себя» был молчаливым парнем в коляске с искалеченным телом и речью, но с внутренним миром, который стал отчаянно шумным и безграничным, как космос, в попытке компенсировать внешнюю неподвижность.

Они поднимались на лифте. Лифт скрипел и вздрагивал, издавая звук, который Иван записал в одну из своих первых послеаварийных работ – как символ шаткости, хрупкости подъёма из пропасти. Анна Ивановна смотрела прямо перед собой, её рука лежала на его плече. Твёрдая, надёжная, единственная постоянная величина в его рухнувшей вселенной.

– А я, между прочим, слоёк с вишней купила, – сказала

она, и в её голосе снова заиграли весёлые искорки, которые она включала, как лампочку, чтобы осветить его мрак. – И чай новый, с жасмином. Будет, как в том кино, помнишь, где они музыку слушали при свечах? Только у нас свечей нет, а то я бы ещё и соседей подожгла ненароком. Да и тебе, с твоей-то координацией, со свечкой не справиться.

Он улыбнулся. Улыбка у него получалась кривоватой, только одна сторона губ поднималась выше – следствие пареза лицевого нерва. Но бабушка всегда видела в этой улыбке целый спектакль и отвечала своей, настоящей, широкой улыбкой.

Лифт добрался до пятого этажа. Дверь в их квартиру была неприметной, зелёной, с почтовым глазком. Но за ней...

Он покатился вперёд, в узкий коридор, где теперь не было лишних вещей – всё убрано, чтобы дать простор коляске. Впереди была его комната. Переделанная гостиная. И его новые инструменты. Не гитара, не микрофон для вокала. Ноутбук на специальной подставке. Конденсаторный микрофон на гибкой стойке. Система айтрекинга. Колонки, подаренные каким-то благотворительным фондом. И весь необъятный, звучащий мир, который он носил в голове и который был готов выплеснуться наружу через этот посредник-компьютер – тяжёлой, величественной, как полёт журавля над полем боя, мелодией. Мелодией после битвы, в которой он проиграл своё тело, но, возможно, ещё не проиграл себя.

Он обернулся, чтобы посмотреть на бабушку, которая ве-

шала в прихожей свой кардиган.

– Спа... спасибо, – сказал он, и это слово, как всегда, вышло с трудом, но было наполнено смыслом.

Она махнула рукой, как будто отмахиваясь от мухи, но глаза её блестели влажным блеском.

– Иди, иди, композитор. Я чайник поставлю. А потом... потом я хочу услышать эту свою грозу. Ты же обещал. Только, чур, без своих этих... электронных завываний, которые у меня в ушах потом звонят. Хотя что-то похожее на настоящую природу.

Он кивнул и покатился в свою комнату. На пороге он задержался на секунду, прислушиваясь к звукам квартиры. Стук посуды на кухне – бабушка готовит чай. Воркование голубей на карнизе за окном – они всегда тут. Тихое гудение нового холодильника – ровное, без перебоев. И далёкий, едва уловимый гул города – тот самый, что начинался у витрины музыкального магазина, гул жизни, которая течёт мимо, но частью которой он всё же оставался, хотя и на особых, тихих условиях.

Это был его хор. Его оркестр. Его жизнь после обрыва. И сегодня вечером он снова попытается перевести её на язык, понятный хотя бы одному человеку на свете. Человеку, который верил, что у него особый ритм сердца, сумевший не остановиться даже после жестокого удара судьбы. А там, глядишь, и для других этот язык когда-нибудь станет понятен.

Глава 2. Симфония хрущёвки

Комната была его вселенной, его коконом после крушения. Не слишком большая, метров двенадцать, с одним окном, выходящим на северо-восток. Свет сюда заглядывал неохотно, только ранним утром, косыми, робкими лучами. Но Ваня это любил. Яркий свет не только мешал сосредоточиться, расплываясь пятнами перед глазами, но и безжалостно высвечивал все детали его нового быта: пыль на мониторе, потёртости на подлокотниках коляски, лекарства на полке, даже собственное отражение в тёмном экране – лицо со шрамами, которое он всё ещё не мог принять как своё. В полумраке же всё смягчалось, сливалось, и чётко светился только экран ноутбука – его главное окно в мир и одновременно его инструмент, его дирижёрский пульт, его новый голос, обретённый через год после того, как старый был украден аварией.

Он пристроил коляску у старого, с потертой столешницей письменного стола, который когда-то был его школьным. Теперь это был командный центр. Стол был завален, но беспорядок этот был строго системным, выверенным до миллиметра, потому что любое смещение предмета могло вывести из строя хрупкую экосистему его рабочего места. Слева – сам ноутбук, на массивной регулируемой подставке, купленной на скудные сбережения бабушки. К нему тянулся тонкий чёрный провод от необычного устройства, закрепленного на тонкой гибкой стойке прямо перед экраном. Это была

камера для айтрекинга. Она отслеживала не лицо, а движение зрачков, переводя взгляд в команды. В первые месяцы Ваня ненавидел этот прибор. Он чувствовал себя подопытным, лишённым последних остатков приватности. Теперь он видел в нём продолжение себя – новые, цифровые пальцы, новые связки.

Справа от ноутбука лежала стопка тетрадей в толстых чёрных переплётах. Это были его партитуры, начатые уже после выписки из реабилитационного центра. Но вместо привычных нотных линеек и скрипичных ключей, которые он когда-то щёлкал как орехи, – столбцы букв, цифр, странных значков и цветных пометок. Его собственная, рождённая от отчаяния система записи звука. Ему пришлось её изобрести, потому что стандартная нотация требовала скорости и точности руки, которых у него больше не было. «С-диез – городской шум, фоновый, 40% громкости, фильтр low-pass на 500 Гц». «Ля-минор – плач ребёнка во дворе, фрагмент, 3 секунды, петля, наложение реверберации с малым pre-delay». «Перкуссия – стук капель по желобу, ритм 4/4, с акцентом на третью долю, side-chain компрессия от басовой дорожки». Это был сложный, личный шифр. Только он мог его расшифровать. Это был язык его внутреннего слуха, который, в отличие от тела, не пострадал, а, кажется, обострился до болезненной чуткости после катастрофы.

Прямо перед ним, на небольшой отдельной подставке, лежал обычный, недорогой конденсаторный микрофон в про-

тивоветровой сетке. Он был всегда включён. Запись шла постоянно, сутки напролёт, прерываясь только когда Ваня выходил из дома (что случалось редко) или когда бабушка пылесосила (он просил её предупреждать, чтобы не испортить запись). За год у него скопилось почти два терабайта сырых, ничем не примечательных записей. Звуков быта. Звуков улицы. Звуков тишины, которая, как он выяснил, тишиной не была никогда. В ней всегда был шум – кровотока в ушах, скрипа дома, далёких голосов, собственного, изменённого дыхания. Записывая всё подряд, он словно пытался заархивировать саму жизнь, доказать её непрерывность, несмотря на тот страшный разрыв, который произошёл с ним.

Он включил ноутбук. Мягкий белый свет экрана озарил его лицо, подчеркнув новые тени под глазами и бледность. Он зафиксировал взгляд на иконке аудиоредактора – сложной программы, которая для большинства была просто набором кнопок и кривых, а для него стала продолжением нервной системы, цифровым спинным мозгом, берущим на себя функции повреждённого. Программа открылась. На экране расстелилась временная шкала с несколькими дорожками. Там уже что-то было. Его последняя работа – «Летний гром. Эскиз». Он работал над ней неделю, собирая по крупичкам.

Он не сразу принялся за правки. Сначала – ритуал, выработанный за месяцы. Он откинулся в коляске, закрыл глаза и просто слушал. Не музыку. Не записи. Слушал свою комнату, свою хрущёвку, свой мир, который сузился до этих стен,

но вглубь раскрылся до бесконечности.

Первая нота – дом.

Это был низкий, непрерывный гул. Гул нового холодильника, купленного на страховку после аварии. Старый «ЗИЛ» они продали, его рокот напоминал Ване о времени «до», и бабушка, поняв это без слов, избавилась от него. Новый холодильник был тише, но его звук был другим – более технологичным, ровным, с едва уловимым высокочастотным писком блока управления. Он работал с перерывами, и его цикл был предсказуем: пятнадцать минут ровного гула, потом щелчок, и наступала тишина на пятьдесят минут. Этот новый гул был фундаментом, тоникой его новой, послеаварийной симфонии. Ваня мысленно обозначил его как «Соль, малая октава, чистый синус с примесью шума на 8 кГц». Это был звук присутствия, звук того, что жизнь, пусть и на других условиях, продолжается.

Вторая нота – жизнь за стеной.

Слева жила семья Новиковых. Там был маленький ребёнок, лет трёх. Сейчас он, судя по всему, бегал. Топот маленьких, быстрых ног по линолеуму – отрывистый, неритмичный, но полный невероятной, животной энергии движения. Звук, который заставлял Ванино сердце сжиматься от острой, рефлекторной боли. Потом голос матери: «Сашенька, осторожно!» – чуть повышенный, на грани раздражения и заботы. Звук падающей игрушки – глухой удар пластика о пол. Непродолжительный, инстинктивный плач, тут

же заглушаемый утешительным бормотанием и шуршанием одежды – её, наверное, обнимают. Ваня представил мелодию: стук каблучков – резкое стаккато, короткие, отрывистые фразы скрипки (мать), падающий глиссандо с резким обрывом (игрушка), короткая, обрывающаяся на высокой ноте виолончели (плач), переходящая в тёплые, густые аккорды альты (утешение). Раньше он лишь фоном слышал эти семейные сцены. Теперь они были для него целыми операми, которые он наблюдал лишь звуком, как слепой.

Третья нота – улица за окном.

Окно было приоткрыто, несмотря на просьбы бабушки не простужаться. Ему нужен был воздух, связь с внешним миром, даже такая опосредованная. С пятого этажа доносился не сплошной шум, а отдельные, чёткие звуковые слои, которые его слух, отточенный вынужденным бездельем, раскладывал на составляющие с лёгкостью звукорежиссёра. Где-то далеко, за двумя кварталами, шла стройка нового торгового центра. Ровный, механический, почти медитативный стук отбойного молотка – чёткий метроном, задающий пульс всему микрорайону, ритм чужого созидания. Раз в пять минут – скрежет и рёв грузовика, сдающего задом, звук, от которого он невольно вздрагивал, вспоминая скрежет металла. Голоса рабочих, перекрикивающиеся через улицу, обрывистые, хриплые, полные усталости и простого, здорового раздражения – эмоции, которые ему были почти недоступны в его состоянии апатии и сосредоточенности на боли.

И ближе. Прямо под окном росла старая, кривая берёза, посаженная, кажется, ещё при заселении дома. Её листья шелестели даже в самый слабый ветерок. Сейчас ветер был лёгкий, и шелест напоминал тихое перешёптывание, шорох шёлковой ткани. Но Ваня знал, что в бурю этот шелест превращался в яростный, шипящий рев, а зимой, когда на обледеневшие ветки налипал мокрый снег, они скрипели, как корабельные снасти в шторм. Он любил эту берёзу. Она была живым метрономом, барометром его настроения.

Четвёртая нота – он сам.

Его собственное дыхание. Не такое, как у других. Более частое, поверхностное, с произвольными паузами. Лёгкий, почти неслышимый, но для него очевидный свист на вдохе – следствие травмы грудной клетки и рубцов на дыхательных путях. И ещё – тихое, прерывистое постукивание. Это его левая рука, которая пострадала меньше правой (правая была со стороны удара), но всё же не слушалась как следует, произвольно била костяшками среднего и указательного пальцев по пластиковому подлокотнику коляски. Ритм был странный, сложный, лишённый логики: два быстрых удара, долгая пауза, три медленных, снова пауза. Он не контролировал его. Это был тик, ритм его повреждённой нервной системы, его персональный, навязчивый бит, звуковое свидетельство сбоя в системе. Сначала он его стеснялся, пытался силой воли остановить, что приводило лишь к усилению спазмов. Потом смирился. А потом, в один из осо-

бенно мрачных дней, начал записывать. И использовал в одной из своих первых послеаварийных работ, «Кардиограмма тишины», где этот произвольный стук стал лейтмотивом, скелетом, вокруг которого строилась вся композиция – музыка о сломанном механизме, который всё ещё пытается отбивать такт.

Он открыл глаза. Взгляд упал на чёрный зрачок камеры. Он сфокусировался на экране. Над временной шкалой висел интерфейс управления – ряд виртуальных кнопок, ползунков, графиков. Он задержал взгляд на кнопке «Запись». Через две секунды (интервал был настроен специально, чтобы избежать случайных срабатываний) она подсветилась синим – система считала это командой «клик». На одной из дорожек появилась красная полоска, замигала. Микрофон был активен. Он слушал и записывал мир, и сам мир, через микрофон, слушал его тишину.

Он медленно перевёл взгляд на пустую дорожку ниже. Сфокусировался на виртуальном регуляторе громкости входного сигнала. Удержал взгляд. Ползунок пополз вправо, увеличивая чувствительность. Он ловил ушами изменение. Фоновый гул холодильника стал чётче, детальнее, в нём проступили обертоны, которых не было слышно раньше. Теперь можно было различить не просто гул, а лёгкую вибрацию чего-то внутри, вероятно, вентилятора, и едва уловимый высокочастотный свист блока питания. Он добавил эту дорожку, пометив её как «Фон. Дом. Слой 1. Холодильник, вент».

Потом его взгляд, плавно скользя по экрану, нашёл библиотеку семплов – заранее заготовленных, очищенных и каталогизированных звуков. Он открыл папку «Двор. Лето». Там были десятки файлов, названия которых были для него целыми историями: «Качели, скрип, май, вечер», «Мяч об асфальт, ритмичный удар, дети», «Собачий лай, Тузик, тревожный», «Дети, крик, игра в догонялки, радостный диссонанс»... Он выбрал «Качели, скрип». Взгляд – клик. Звуковой файл в виде волны лёг на новую дорожку. Он снова взглянул на регулятор громкости, убавил её почти до нуля, до -36 dB. Качели стали призрачным, едва уловимым эхом, доносящимся с самого края восприятия, как память о движении, которое ему больше не доступно.

Так начиналась магия, замешанная на боли и упрямстве. Его тело было неподвижно, заперто в тисках спазмов и ограничений. Только глаза бегали по экрану, фокусируясь, выбирая, корректируя – единственная часть его, сохранившая прежнюю скорость и точность. Иногда он ненадолго закрывал веки, чтобы дать им отдых от яркого свечения, и в это время пальцы его левой руки начинали отбивать свой странный, навязчивый ритм по пластику подлокотника. Этот стук он тоже записывал на отдельный, всегда активный трек. Потом, возможно, использует. Всё шло в дело. Даже сбои.

Он работал почти час, полностью погружённый в процесс, где время текло иначе. Он не «сочинял» в привычном смысле. Он скорее лепил звуковую скульптуру, ваял её из шума

и тишины, как из глины. Он наложил запись вчерашнего дождя (тихого, морозящего) на запись скрипа качелей, сдвинул их по фазе, получив тревожный, пульсирующий эффект биения, как будто два сердца бьются вразнобой. Добавил единственный чистый, «культурный» звук – протяжную ноту «ля», сыгранную на виолончели (это был семпл из платной библиотеки, купленной бабушкой вскладчину с его скромной пенсией по инвалидности). Виолончель вступила один раз, медленно, грустно, с лёгкой вибрато, и растворилась в шуме дождя, как воспоминание о чём-то прекрасном и утраченном в серой повседневности. Получился момент щемящей, внезапной красоты посреди обыденности – именно то, что он теперь искал в каждом дне.

Дверь в комнату тихо приоткрылась, не скрипнув – бабушка смазала петли специально. На пороге стояла Анна Ивановна с подносом в руках. На подносе дымились две кружки чая с жасмином, и лежал тот самый слоёк с вишней, аккуратно разрезанный на четыре треугольника. Её лицо, испещрённое новыми морщинками заботы, было сосредоточено.

– Перерыв, полководец, – сказала она тихо, почти шёпотом, чтобы не спугнуть его мысль, не нарушить хрупкий баланс. – А то слышу – уже качели скрипят и дождь идёт. На дворе-то ясно, между прочим. Солнце.

Он оторвал взгляд от экрана, мигнул от напряжения. Мышцы вокруг глаз ныли – концентрация взгляда была уто-

мительной.

– Спа... сп-сибо, – кивнул он, и слово вышло хриплым, растянутым.

Она вошла, поставила поднос на свободный край стола, отодвинув стопку тетрадей. Присела на свою табуретку, которую всегда держала тут же, у стены, наготове.

– Ну что, как продвигается гроза? – спросила она, отламывая маленький, крохотный кусочек от слойки, делая вид, что ест.

Ваня вздохнул, почувствовав знакомую тяжесть в груди – не физическую, а ту, что приходила, когда нужно было оценить свою работу чужими ушами. Снова перевёл взгляд на экран, нашёл кнопку «Play» и зафиксировался на ней. Система отозвалась мгновенно. Программа замерла на секунду, буфер прочитался, и из колонок, стоящих на полках по бокам от стола, полился звук.

Сначала – только тот самый, обработанный гул холодильника, но теперь усиленный, сдобренный лёгкой реверберацией с большим размером комнаты, чтобы он звучал не на кухне, а в огромном, пустом, бетонном пространстве, как в ангаре или в собственной голове после травмы. Потом, очень медленно, почти незаметно, начал нарастать ветер. Это был не один звук, а сплетение, ткань: шелест берёзы за окном (запись, сделанная прошлой осенью, когда он только начал вставать с постели), свист в микроскопической щели балконной двери (он нашёл и записал его специально), отдалённый,

искажённый рёв пролетающего самолёта (семпл из открытой библиотеки, искусственно растянутый во времени и опущенный на две октавы, чтобы звучал как предвестник беды). Ветер набирал силу, становился плотным, осязаемым, вихревым. И тут вступили качели – их скрип теперь звучал не одиноко, а в унисон со скрипом веток и со свистом в щели, создавая жутковатый, напряжённый, диссонирующий хор, который нависал над слушателем.

И вдруг – тишина. Резкая, оглушительная, полная. На пару секунд. Та самая зловещая тишина перед ударом, которую он помнил из детства, но теперь она ассоциировалась с другими, более страшными ожиданиями.

И – удар. Не запись настоящего грома. Настоящий гром был слишком простым, слишком природным. Ваня скомбинировал свой удар из десятка чужих звуков: глухой, металлический удар кувалды по пустой цистерне (запись со стройки), рёв взлетающего истребителя на полном форсаже (из документального фильма о ВВС), низкочастотный инфразвуковой импульс, сгенерированный самим плагином, и... едва уловимое, добавленное им вчера стекло – звук разбивающегося бокового окна, записанный им когда-то на старый телефон для шутки и чудом сохранившийся в облаке. Получился не просто громкий звук. Это было физическое давление, волна, которая шла от колонок и заставляла вибрировать не только воздух в комнате, но и грудь, и стекло на столе. Анна Ивановна невольно вздрогнула, её плечи подались вперёд.

А потом начался дождь. Сначала редкие, тяжёлые, одинокие капли – это был стук его же, непослушных пальцев левой руки по стеклянной крышке стола, запись замедленная вчетверо, чтобы каждая капля звучала как удар маленького молоточка по натянутой коже. Потом ливень – запись настоящего, яростного дождя по жестяной крыше сарая во дворе, но пропущенная через агрессивные фильтры high-pass и distortion, чтобы звучало более «металлически», грозно, технологично, как дробь по обшивке машины. И сквозь этот всепоглощающий шум, едва слышно, на грани восприятия, пробивалась та самая одинокая нота виолончели. Она звучала не как мелодия, а как призрак мелодии, как вопль, застрявший в горле. Или как молитва, произнесённая в пустоте.

Композиция длилась ровно семь минут и семнадцать секунд. Когда звук смолк, в комнате повисла не просто тишина, а вакуум, высасывающий все предыдущие звуки. Даже холодильник на кухне в этот момент, по счастливой случайности, молчал в своей фазе отдыха.

Анна Ивановна не говорила ничего долгое время. Она сидела, смотря в пространство перед собой, её руки были сложены на коленях, пальцы переплетены. Потом она медленно, с усилием выдохнула, как будто всё это время не дышала.

– Ох, Ванюша... – прошептала она, и её голос дрогнул. – Да ты не грозу сделал. Ты... ты сделал тот самый момент. Тот, перед самым... – она не договорила, не смогла произнести «перед самым ударом». – Страх. Самый настоящий.

Такой, когда в горле пересыхает и сердце в пятки уходит, и мир замирает. И... и надежду. Эту скрипку...

– Виолон... чель, – поправил он тихо, автоматически, и тут же пожалел. Не важно, как называется инструмент.

– Виолончель, – покорно, машинально повторила она. – Она в самом конце... как луч света из-за тучи, когда уже думаешь, что его не будет. Тяжело слушать. Очень тяжело. Но... – она повернулась к нему, и её глаза, бледно-голубые, старческие, отёкшие от бессонных ночей у его больничной койки, были полны такого глубокого, бездонного понимания, что у Вани внутри всё сжалось в тугой, болезненный комок. – Но это правда. Так оно и есть. Гроза. Она ведь не только с неба. Она и внутри бывает. И после неё... бывает тишина. И в тишине этой – вот этот звук. Чистый.

Он смотрел на неё, и комок подкатывал к горлу, мешая дышать. Она всегда понимала. Не с первого раза, иногда ей нужно было объяснять, пусть и с трудом, что он хотел сказать тем или иным звуком, какой образ вкладывал. Но она всегда слушала. Не как критик, не как учитель. Как самый важный, единственный зритель в его личном, крошечном, послеаварийном театре одного актёра, который играет глазами и слухом.

– Кон... конкурс, – сказал он, с трудом выталкивая слова сквозь напряжение в гортани. – Можно... эту? Или... сли... слишком...

Она задумалась, отпила глоток чаю, давая себе время.

– Можно, – сказала наконец твёрдо. – Только... название надо поменять. Не «Летний гром. Эскиз». Слишком просто, слишком... буквально. Назови... назови «Предчувствие». Или «Воздух перед бурей». Чтобы люди настроились не на погоду, а на чувство. На то, что у тебя внутри. А внутри, я чувствую, именно это.

Он кивнул. Она была права. Как всегда. Бабушка, проработавшая тридцать лет учительницей литературы, чувствовала силу слова, его скрытую музыку, его способность задавать тон. Она часто говорила, что стих – это тоже партитура, только для голоса и воображения. А его музыка была обратным процессом – партитурой для воображения, рождённой из невозможности пользоваться голосом.

Они пили чай в тишине, но тишина эта теперь была наполненной, заряженной только что отзвучавшими образами. Ваня доел свою слойку, медленно, стараясь жевать аккуратно (с координацией челюстей тоже были проблемы). Потом Анна Ивановна взяла пустые кружки и встала, её суставы неприятно хрустнули.

– Ладно, небось глаза устали. Отдохни. Я пойду, борщ помешаю, он уже томятся. А вечером, если захочешь, ещё послушаем финальную версию. Мне вот в конце, где дождь затихает и виолончель замирает... кажется, нужно что-то ещё. Совсем короткое. Какой-то одинокий, завершающий звук. Вроде того, что ты в прошлый раз делал – капля с крыши на камень. Только... не капля.

– Коло... колокольчик, – сказал Ваня, уже видя это внутренним слухом, почти слыша чистый, холодный, неэмоциональный звон. – Один удар. Фар... фарфоровый. Су... сухой.

Она улыбнулась, и в улыбке этой была грусть и гордость.

– Вот-вот. Колокольчик. Ты знаешь. Ты всегда знаешь. – Она уже выходила, но задержалась в дверях, обернувшись. И, Ваня...

Он поднял на неё взгляд.

– Я горжусь тобой. Не потому что ты делаешь музыку. А потому что ты... ищешь звук. Всё время ищешь. Даже когда трудно. Ты знаешь?

Он знал. Она говорила это нечасто, чтобы слова не стёрлись, не превратились в рутину. Но он знал. Это знание было таким же фундаментальным, как новый гул холодильника, как боль в спине по утрам. Оно держало на себе весь его хрупкий, пересобранный мир. Оно было тем магнитом, который не давал ему окончательно распасться на осколки отчаяния и самосожаления.

Он кивнул, не в силах ничего сказать, боясь, что голос подведёт и выдаст не то, что он чувствует.

Дверь закрылась с тихим щелчком.

Он снова остался один. Но одиночество это не было тяжёлым, давящим, каким оно было в первые месяцы. Оно было творческим, насыщенным, наполненным звуками, которые ждали своего часа, своей очереди в его внутренней очереди на воплощение. Он был дирижёром этого безмолвного

оркестра.

Он откатился от стола, подъехал к окну. Берёза за окном мирно шелестела под лёгким ветерком. Никакой бури. На стройке отбойный молоток смолк – видимо, обеденный перерыв. Снизу доносились чистые, пронзительные голоса детей, игравших в салочки. Крики: «Я в домике!», «Не че-е-ета-я!», взрывы смеха. Звуки беззаботности, которые теперь были для него как музыка с другой планеты – красивая, но чужая.

И вдруг он услышал новый звук. Тонкий, пронзительный, летящий с неба, разрезающий обыденность, как лезвие. Он замер, прислушался, задержав дыхание. Да, это они. Журавли. Клином, уходящим на юг, хотя до календарной осени ещё далеко. Может, ранний перелёт? Или просто тренировочный круг? Он задрал голову, пытаясь увидеть их из окна, но угол был не тот, мешала рама. Только звук. Перезвон, похожий на лёгкие, стеклянные, холодные колокольчики, которые бьются друг о друга на ветру. И этот звук был полон такой щемящей тоски, такого безмерного, недостижимого простора и свободы, что у него реально, физически защемило под рёбрами, в том месте, где, как он думал, уже ничего не чувствовалось после травмы.

Он резко развернул коляску, подкатил к микрофону. Журавлиный крик уже затихал, растворяясь в гуле города, уходя вдаль, на юг. Но он успел. Микрофон, всегда включённый, всегда жадный до звуков, поймал последние три-четы-

ре секунды этого прощального клича. Ваня запустил программу, нашёл на общей дорожке последние минуты, выделил фрагмент с криками. Он прослушал его раз, другой, в наушниках. Очистил от фонового шума машин и стройки с помощью шумоподавления, усилил высокие частоты, добавил лёгкую реверберацию с большим размером зала. И получилось – чистый, холодный, пронзительно-прекрасный звук полёта и свободы, звук ухода, звук чего-то безвозвратного, но несущего в себе обещание другого неба.

Он сохранил этот семпл в папку «Природа. Птицы». Подписал: «Журавли, август, тоска по движению».

Потом он вернулся к своей «грозе». К тому самому моменту, где дождь затихал и нота виолончели растворялась в ничто. И вместо одинокого фарфорового колокольчика, который предлагала бабушка, он вставил этот журавлиный крик. Всего один. Короткий, прощальный, нежный и ледяной одновременно. Он прозвучал не после, а поверх последних, затухающих капель дождя, и в этой точке их пересечения композиция обрела совершенно иной, неожиданный даже для него смысл. Это была уже не просто буря и не просто затишье после неё. Это была буря, после которой приходит не покой, а лёгкость другого рода. Боль, после которой остаётся не пустота, а чистая, холодная, почти абстрактная печаль и ощущение бескрайнего неба, в котором ты больше не летишь, но которое остаётся – как факт, как напоминание, как вызов.

Он прослушал всё с начала, от гула холодильника до последнего журавлиного крика, замирающего в тишине. И понял, что это – оно. То самое. Не для конкурса. Не для признания. Для себя. Для бабушки. А может, и для той, другой, чьё молчание и отстранённость в последние два года были для него громче любого грома, болезненнее любого физического удара. Для матери, которая после аварии словно испугалась его нового, искалеченного облика ещё больше, чем он сам, и отступила в свою московскую жизнь, присылая деньги и редкие, тяжёлые звонки.

Он пересохранил файл под новым именем: «Журавль_после_бури_v2».

На кухне зазвенела посуда, запахло жареным луком, морковью и лавровым листом – бабушка начала жарку для борща. Скоро ужин. Обычный будний вечер в обычной, слегка обшарпанной хрущёвке на окраине города. Но Ваня сидел в своей комнате, превращённой в студию, и в его ушах ещё звучал хрустальный, неземной крик журавлей, смешанный с отголосками его собственной, только что сотворённой и преодолённой бури. Он смотрел на свои руки, лежащие на подлокотниках. Правая – сжатая в полукулак, упрямая, почти неживая. Левая – с произвольно подрагивающим указательным пальцем, выбивающим свой таинственный, сбитый ритм.

«Особый ритм сердца», – повторил он про себя бабушкины слова, мысленно, беззвучно. И впервые за долгое время –

не за два года, а за те долгие месяцы, что прошли с момента, когда он осознал масштаб потерь, – подумал, что, возможно, этот новый, искажённый, но живой ритм стоит услышать не только ей одной. Не как свидетельство трагедии. А как документ. Как попытку настройки сломанного инструмента на новую, странную, но свою частоту. Воздух после бури был чист, холоден и полон далёких, непонятных, но зовущих звуков. И он, хоть и не мог лететь, мог хотя бы слушать и пытаться понять их музыку.

Глава 3. Птица в клетке молчания

Запах борща, густой и наваристый, с чесноком и сметаной, наполнил всю квартиру. Это был запах-якорь, запах непрерывности, запах бабушкиной воли, которая за два года после аварии превратилась в тихую, нестигаемую тиранию любви. Но сегодня, в будний вторник, он ощущался иначе – не как утешение, а как баррикада, возведённая из знакомого и уютного против чего-то незримого, но ощутимого, что висело в воздухе между ними с утра. Ваня чувствовал это напряжение в каждом звуке, который издавала бабушка: в слишком громком стуке крышки кастрюли, в чересчур резком скрежете стула по линолеуму, в её тишине, которая была не мирной, а настороженной, как у зверя, уловившего чужой запах.

Он катил коляску на кухню. Небольшое помещение, заставленное старой мебелью цвета «солнечного дуба», было царством Анны Ивановны, переделанным в крепость для

его нужд. Здесь всё было расставлено с максимальным удобством и минимальной эстетикой: стол с грубо выпиленным полукругом, чтобы можно было подъехать вплотную; низко висящие полки с посудой, которую он мог снять, если очень постарался левой рукой (и часто ронял, к ярости бабушки), даже выключатели были опущены на двадцать сантиметров, что раздражало всех гостей, но было спасением для него. Каждый такой приспособленный предмет был памятником их общей борьбе и молчаливым укором миру, который не думал о таких, как он.

На столе уже стояли две глубокие тарелки, ложки лежали справа – бабушка следила, чтобы он развивал остатки моторики левой руки. Она сама, стоя у плиты, разливала борщ по простым фаянсовым тарелкам. Глиняные горшочки разбились в первые недели его неуклюжих попыток есть самостоятельно. Она была в своём синем, застиранном фартуке, и на её лице играло привычное, сосредоточенное выражение, но уголки губ были поджаты, а в глазах – та самая стальная твёрдость, которая появлялась, когда речь заходила о Елене.

– Садись, Ванюша, горяченький. Сейчас сметанки добавлю, – сказала она, не оборачиваясь. Голос её был ровным, но в нём, как в далёком грозовом фронте, чувствовалась накопленная энергия.

Он подъехал к своему месту, зацепившись колесом за ножку стула – привычный, раздражающий манёвр. Ложку он держал левой рукой, неловко, но с упорным, вымученным

навыком. Анна Ивановна никогда не кормила его с ложечки после того, как врачи сказали, что с глотательным рефлексом всё в порядке. «Не приучай человека к беспомощности, – говорила она тогда, глядя в глаза растерянному реабилитологу. – Он и так чувствует себя беспомощным. Пусть держит сам, даже если обольётся. Это его право – быть неловким». Сначала он ненавидел эти медленные, унижительные трапезы, когда борщ стекал по подбородку, а ложка выскальзывала из непослушных пальцев. Теперь он понимал: это была не жестокость, а акт веры. Она верила, что он справится. С чем угодно.

Они ели в тишине, нарушаемой только скрежетом его ложки о тарелку, её тихими глотками и назойливым, громким тиканьем настенных часов в форме домика с кукушкой – подарка её бывших учеников ещё из прошлого века. Но тишина эта была обманчивой, беспокойной. Ваня чувствовал, как бабушка копится, как заряжается для чего-то, переваривая не борщ, а ту тяжесть, что легла на неё после утреннего звонка. Она отхлёбывала борщ слишком медленно, её взгляд был прикован не к нему, а к окну, за которым медленно синел вечер, растворяя в себе следы прошедшего дня. Дня, который начался с того самого звонка.

И вот, когда он уже почти доел, с трудом зачерпнув последние капли сметаны, она положила ложку на стол с тихим, но чётким щелчком, облокотилась на стол и вздохнула. Глубоко, так, что даже крякнуло что-то у неё в груди – звук

возраста и усталости.

– Звонила сегодня, – произнесла она без предисловий, без «Ваня, нам нужно поговорить». Голос её был ровным, но в нём дрожала та самая стальная, закалённая в гневе и обиде струна.

Ваня замер. Ложка застыла на полпути ко рту, капля борща упала на скатерть. Он не спрашивал «кто». Он знал. Звонила только она. Раз в месяц, как отчёт перед самой собой, как напоминание о существовании, которое стало слишком сложным, чтобы быть постоянным. Звонила всегда на городской телефон, никогда на мобильный, будто выдерживая дистанцию даже в способе связи.

– И? – сумел он выдать, и голос его, хриплый и негромкий, прозвучал особенно жалко в этой напряжённой тишине.

– Поздравила с днём рождения, – Анна Ивановна смерила его взглядом, в котором читалось и сочувствие, и раздражение. – Рановато, конечно, до твоего ещё три недели. Видимо, боится забыть в рабочей суете. Или времени потом не будет. А может, просто не может заставить себя позвонить в сам день – слишком тяжело.

Он молча опустил ложку в тарелку. Аппетит исчез мгновенно, сменившись знакомым, холодным, металлическим комком под ложечкой – той самой физиологической реакцией на стресс, которая появилась после аварии. День рождения. Ему исполнялось девятнадцать. Совершеннолетие, этот важный рубеж, прошёл год назад, тихо, почти незаметно, в

больничной палате реабилитационного центра. Он тогда ещё не мог толком сидеть, и речь была совсем скомканной. Мать прислала огромный букет дорогих цветов и денежный перевод. Не приехала. В этом году они с бабушкой отметили дома, скромно: испекли торт «Прага» по старому рецепту, и она, продав что-то из своих немногих ценных вещей (он подзревал – старую швейную машинку «Зингер»), купила ему дорогую внешнюю звуковую карту. «Чтобы записывал чище, без этих помех, – сказала она, вручая коробку. – Ты же слышишь все эти шумы. Теперь будешь слышать только музыку». Он знал, что это была не просто покупка. Это была инвестиция в его новую жизнь, в его новый голос. И этот подарок, сделанный с такой любовью и верой, делал денежные переводы от матери чем-то пустым, почти оскорбительным.

– Что... что сказала? – спросил он, глядя на оранжевый жир, застывающий узорами на поверхности остывающего борща. Узоры напоминали ему трещины на лобовом стекле – те самые, что он успел увидеть в последнее мгновение перед ударом.

– Что? Обычное. «Как здоровье? Как учёба?» – Анна Ивановна передразнила отстранённо-деловой, чуть усталый тон, и в её голосе прорвалась едва сдерживаемая, острая горечь. – Учёба! Сидит он тут, целыми днями музыку свою пилит, консерваторию на дому заканчивает, а она про какую-то формальную учёбу спрашивает! Как будто не знает, что из института его отчислили по медицинским показаниям! Де-

нег прислала. Больше обычного. На «подарок». – Она почти выплеснула это слово, словно оно обжигало губы. – Я сказала: «Он не в магазине, Елена, подарки не заказывает. Приезжай – сама увидишь, что ему нужно. Увидишь, во что он превратился и... и во что он превращается. В композитора, между прочим». А она... – бабушка замолчала, сжав губы в тонкую, белую от напряжения полоску.

– Что? – тихо, почти беззвучно спросил Ваня, боясь услышать ответ, но ещё больше боясь не услышать.

– Замолчала. Так замолчала, что я подумала – связь прервалась. Потом сказала: «Мама, ты не понимаешь». И положила трубку. Вот и весь разговор.

Тишина в кухне сгустилась, стала вязкой, тяжёлой, как сироп. Даже часы будто тикали тише. Ваня смотрел на свои руки, лежащие на столе. Правая, как всегда, была сжата в своеобразный кулак, пальцы впились в ладонь – остаточная спастичность, последствие повреждения спинного мозга. Он пытался расслабить их мысленным приказом, но они не слушались, жили своей собственной, напряжённой, болезненной жизнью, напоминая ему каждую секунду о том, что контроль утрачен. Левая, более послушная, но всё равно чужая, лежала ладонью вверх, и он видел тонкие, белые шрамы от капельниц и давлений – карту его долгого пути через больницы.

– По... почему? – прошептал он, и этот детский, навязчивый вопрос, висевший в воздухе все два года, вырвался на-

ружу, сорвавшись на хрип. Он адресовал его и бабушке, и пустоте, и самому себе, и той далёкой женщине в Москве, чьё молчание было громче любых слов.

Анна Ивановна резко встала, взяла тарелки, хотя он ещё не доел. Загремела посудой в раковине, включая воду с таким напором, что брызги полетели на стены.

– Почему? – передразнила она, и её голос, обычно такой сдержанный, взвился до опасной высоты. – Потому что слабая! Потому что эгоистка! Не смогла принять. Не смогла смотреть. У неё в голове был идеальный сын – здоровый, красивый, талантливый, с будущим. А теперь... – она запнулась, сражённая собственными словами, и её лицо, обычно такое твёрдое, исказилось от внезапной, живой боли. Она отвернулась к раковине, но он видел, как её плечи напряглись. – А теперь ты. Мой золотой. Мой выживший. Мой герой. А для неё – напоминание о несчастье. Крест. Тяжёлый крест, который она нести не захотела. Не смогла. У неё не хватило духу.

«Крест». Это слово, тяжёлое, церковное, больно ударило по Ваниному сердцу, отозвавшись эхом в рёбрах. Он видел, как бабушка тут же пожалела о нём, как она судорожно вытерла глаза краем фартука, но слёз, кажется, не было. Она давно, казалось, выплакала все слёзы на эту тему. Теперь осталась только ярость – холодная, рациональная, как скальпель.

– Она не... не хотела меня? – спросил он, и голос его со-

рвался на тот самый, ненавистный хрип, который появлялся в моменты сильного волнения. – По... после аварии?

Анна Ивановна обернулась, медленно вытерла руки полотенцем. Её лицо было пепельным. Она подошла к столу, тяжело опустилась на стул, будто кости её вдруг стали свинцовыми. Её рука, шершавая, в коричневых пятнах возраста и химии для мытья посуды, легла поверх его левой, судорожно вцепившейся в край стола.

– Хотела. Больше жизни. Ты же помнишь, какими вы были до... до всего. Она на все твои концерты ездила, гитару тебе первую купила, хвасталась тобой перед всеми. А когда случилось... – её голос смягчился, ушёл в тяжёлые, затуманенные горем воспоминания. – Первые недели в реанимации она не отходила. Спала там же, в кресле. Руки в те перчатки, в дырки кувеза, просовывала, чтобы ты её палец чувствовал, даже когда был без сознания. Говорила с тобой, читала тебе. Потом... потом острый период миновал. Тебя перевели в обычную палату. И началось самое трудное. Осознание. Врачи начали говорить про прогнозы. Что ходить, скорее всего, не будешь. Что с речью будут большие проблемы. Что с руками... И у неё... будто щелчок произошёл где-то внутри. Потухла. Словно лампочку выключили. Перестала говорить. Только сидела и смотрела на тебя, а в глазах был такой ужас, такая боль, что я сама отводила взгляд. Отец твой, негодяй (прости, что так, но он негодяй), сбежал ещё в первую неделю, сказав, что не вынесет. А она... она осталась. Но будто

сама из себя сбежала. Перестала видеть в тебе сына. Видела только пациента. Тяжёлого пациента. И свою вину.

– Ви... ну? – переспросил Ваня, не понимая. – Она же не ви... виновата. Я сам сел за руль. Я вы... выпил.

– Она винит себя за то, что отпустила. За то, что не настояла, чтобы ты остался дома. За то, что не угадала, не предотвратила. А ещё... – бабушка вздохнула, её пальцы слегка сжали его руку. – А ещё, мне кажется, она винит себя за то, что не может тебя вылечить. За то, что её любовь бессильна против этого. И вместо того чтобы быть рядом с этой бессильной любовью, она... предпочла отступить. Чтобы не видеть своей беспомощности. Чтобы не причинять тебе ещё боль, видя, как она сама разваливается. Глупо? Да. Жестокое? Невыносимо. Но я видела её тогда. Она не справлялась. Совсем.

Ваня слушал, и в голове его проносились не воспоминания, а обрывки ощущений из того наркотического, бредового периода: чувство чужой, холодной руки на своём лбу (врач?), запах больничных духов, смешанный с запахом крови и антисептика, и звук – тихие, надрывные, заглушённые всхлипывания где-то рядом, в темноте. Он думал, это ему снится. Теперь он понимал – это плакала мать. Сидя у его кровати, она плакала, а он, находясь в полусознательном состоянии, слышал это и не мог понять, почему ей так больно. Иногда её рука сжимала его бессильные пальцы так сильно, что было почти больно.

– Она... боялась? – переспросил он, пытаясь ухватиться за эту мысль.

– Боялась жизни! Боялась этой новой, чудовищной реальности! Боялась тебя – не такого, каким ты был! – отрезала бабушка, но уже без прежней ярости. Её гнев выдохся, сменившись тяжёлой, старческой, всепроникающей усталостью. – И вместо того чтобы бороться вместе с нами, она просто... закрыла глаза. И уши. И уехала в свою Москву, в свою работу, где всё можно просчитать и спроектировать. Вот уже два года. Звонит, шлёт деньги. И всё. Как будто отбывает повинность.

Она встала, начала вытирать стол тряпкой, яростно водя ею по пластиковой скатерти с рисунком роз, будто стирая с поверхности все следы этого разговора, все неприятные чувства.

– А ты не думай о ней. Не копайся в этом. Рана свежая, ты её растравливаешь. У тебя есть я. Мне хватит на двоих. И глаз, и рук, и сердца. Её, это пустое место с банковским переводом, считай. Живи своей жизнью. Твори свою музыку. Она сама выбрала свою роль. Пусть играет.

Но Ваня не мог просто «считать». Он не мог вычеркнуть её, как вычёркивают ошибку в тетради. В его внутреннем мире, который после аварии стал тоньше, острее, болезненнее, образ матери не был пустотой. Пустота – это отсутствие чего-либо, тишина на частоте. А то, что он чувствовал в связи с ней, было очень даже материальным, насыщенным сложны-

ми обертонами. Это был не тишина, а специфический, низкочастотный гул, исходивший из глубин его собственной, переломанной жизни, как тот самый фоновый шум города, который всегда был слышен, если прислушаться. Его можно было игнорировать, к нему можно было привыкнуть, но он был фундаментом нового звукового ландшафта. Фоном, на котором разворачивалась вся его новая симфония из боли, поиска и редких проблесков надежды. И если этот гул, это ощущение тяготения, вдруг прекратится – мир, хрупко собранный за два года, может рухнуть, потому что лишится одной из своих осей, пусть и негативной.

Он не говорил об этом бабушке. Её правда была простой, чёрно-белой, выстраданной в ежедневных битвах за его здоровье, за его права, за его будущее: её дочь – дезертир, сбегавшая с поля боя, когда стало тяжело. Его правда была запутанной, как клубок из проводов после короткого замыкания, и он сам в ней блуждал, не находя выхода.

– Я... пойду, – тихо сказал он и откатился от стола, не глядя на неё.

– Ты тарелку не доел! Борщ остынет!

– Не хо... хочу. Не мо... жу.

В комнате он не стал включать компьютер, не потянулся к наушникам. Он подкатился к окну, к тому самому месту, где проводил долгие часы, наблюдая за миром, который теперь был ему доступен только визуально и на слух. На улице уже полностью стемнело. Зажглись редкие, тусклые фонари,

отбрасывающие жёлтые, неровные, дрожащие круги на потрескавшийся асфальт. В одном из окон пятиэтажки напротив горел синий, призрачный свет телевизора – кто-то смотрел фильм или новости, жил обычной жизнью.

Он закрыл глаза и попытался вызвать в памяти мать не больничную, не телефонную, а прежнюю. Получалось плохо, обрывками. Фотографии были старыми, последним общим снимкам было лет пять. Она на них – молодая, стильная женщина с тёмными, блестящими волосами, уложенными в элегантную, но не строгую причёску, с лёгкой, счастливой улыбкой. Но даже на этих фото он сейчас, своим новым, горьким взглядом, видел не просто радость, а какую-то напряжённость в уголках глаз, будто она всегда чего-то боялась, даже тогда. Боялась потерять. И её страх материализовался самым чудовищным образом.

И голос. Голос по телефону. Он был низким, приятным, немного хрипловатым от курения (она пыталась бросить, но не могла). Он всегда говорил медленно, чётко выговаривая слова, как будто боялся сказать что-то лишнее, выдать эмоцию. Шаблонные фразы: «Привет, Ваня. Как дела? Как здоровье? Учишься? Молодец. Держись. Целую. Передавай привет бабушке». И всё. Никаких «как твоя музыка?», «что нового сочинил?», «как продвигается работа с айтиреком?». Бабушка, видимо, ей не рассказывала о его увлечении, считая это чем-то вроде семейной тайны, своим личным полем битвы за его душу. А спросить сама она не решалась.

Или не хотела знать. Потому что знание обязывало. Обязывало интересоваться, вникать, участвовать. А она участвовать боялась.

«Бойтся, наверное, привязаться ещё сильнее, чтобы потом не было ещё больнее, когда...» — это предположение бабушки вертелось в голове. Могла ли боль быть настолько сильной, чтобы заставить отдалиться от собственного, выжившего сына? Он знал боль. Настоящую, физическую — от спазмов, когда всё тело выгибалось в немой, беззвучный крик, а по лицу текли слёзы бессилия. Душевную — от жалости в чужих, быстро отводимых взглядах на улице, от невозможности просто встать и пойти туда, куда хочется, от осознания, что многие двери для него теперь закрыты навсегда. Но мысль о том, чтобы бросить бабушку, отвернуться от неё... она была немыслима. Она была бы хуже любой физической агонии. Бабушка была его скалой, его голосом, его руками. Её упрямая, шершавая любовь была тем топливом, на котором он держался все эти месяцы.

Или... или материнская боль была другого рода? Не от того, что он стал «не таким», а от чувства собственной чудовищной вины и беспомощности? Он вспомнил разговор недельной давности. Бабушка тогда говорила с кем-то по телефону, со своей старой подругой, Татьяной Петровной, которая когда-то работала психологом. И он, случайно услышав обрывок из своей комнаты (двери не было, только занавеска), поймал фразу, произнесённую бабушкой с редкой

для неё усталостью: «...Понимаешь, Таня, Лена не его не приняла. Она себя не приняла в этой новой роли. Матери калеки. Считает себя недостойной, плохой, что всё испортила, недоглядела...»

Что она могла испортить? Его жизнь? Но это был несчастный случай. Его вина, его глупая, юношеская бравада за рулём. Она не была за рулём. Она была дома и ждала его с той самой вечеринки, о которой потом пожалели все. Её вины не было. Но чувство вины, как он узнал из книг по психологии, которые теперь иногда читал, редко бывает рациональным. Оно может съедать изнутри, заставляя избегать источник боли – даже если этот источник – твой собственный ребёнок.

В голове, вопреки воле, начал складываться новый звуковой образ. Не образ матери, а образ её отсутствия. Он видел его не визуально, а как длинную, пустую дорожку в аудиоредакторе, где вместо звуковой волны была прямая линия – тишина. Но тишина не полная. Активная, давящая, насыщенная ожиданием того, что могло бы быть, но не случилось. И на эту основную дорожку молчания накладывались другие, живые: его собственный, новый, сбивчивый, хриплый голос, пытающийся сейчас сказать хоть что-то связное; тёплый, немного фальшивящий голос бабушки, напевающий что-то из старых песен; звуки дома, города, его новой жизни – всё, что было наполнено, пусть и болью, но жизнью. А на фоне, как басовая педаль, – эта немота. Не как недостаток, а как отдельная, живая, пульсирующая сущность. Монстр

молчания, выросший из аварии, пожирающий пространство между ними.

Руки сами потянулись к джойстику коляски, чтобы подкатиться к компьютеру, начать записывать, воплощать эту идею. Но он удержался. Не сейчас. Слишком сыро, слишком больно, слишком лично. Из такого чувства нельзя делать искусство, не пройдя через фильтр осмысления. Из него можно только кричать. А кричать громко, как прежде, он уже не мог. Его крик теперь был тихим, цифровым, состоящим из подобранных звуков и долгих пауз.

На кухне зазвонил телефон. Резкие, пронзительные, металлические трели старого дискового аппарата пробили вечернюю тишину квартиры, заставив Ваню вздрогнуть. Сердце ёкнуло и забилося чаще, неровно. Это могла быть только она. Бабушка не стала дожидаться второго звонка, сорвавшаяся с места.

– Алло? – её голос прозвучал сухо, отстранённо, как у секретаря, принимающего нежеланный звонок.

Пауза. Ваня затаил дыхание, стараясь услышать хоть что-то из трубки, но слышал только бормотание бабушки и далёкий, неразборчивый шелест.

– А, это ты. Опять. – В голосе Анны Ивановны не было удивления, только усталое раздражение.

Ещё пауза, более долгая. Ваня мысленно представлял, что говорит мать. Извиняется за утренний разговор? Спрашивает ещё раз о нём? Просит передать трубку?

– Нет, не спит. Сидит в своей комнате. Что? Хочешь поговорить? – Бабушка произнесла это с такой интонацией, будто речь шла о какой-то неприятной, но необходимой процедуре.

Ваня почувствовал, как всё внутри него напряглось, сжалось в ком. Ладонь левой руки вспотела.

– Ну, подожди. Сейчас.

Шаги по коридору. Занавеска отодвинулась. Анна Ивановна стояла в проёме, её лицо было каменной маской, но в глазах мелькала тревога – не за него, а за то, что этот разговор может ему снова навредить.

– Ваня, – сказала она без выражения, будто объявляла номер подошедшего трамвая. – Тебя. К телефону.

Он медленно, словно на эшафот, развернул коляску и покатил на кухню. Бабушка стояла у стены, держа на вытянутой руке тяжёлую, чёрную, потрёпанную жизнью трубку. В её глазах читалось немое предупреждение, целая инструкция: «Не радуйся. Не обманывайся. Не надейся. Будь осторожен. Защищайся».

Он взял трубку левой, более-менее послушной рукой. Она была холодной, скользкой и неудобной.

– Ал... ло? – прошептал он, и это слово вышло особенно тихим, съёжившимся.

Тишина в трубке была густой, насыщенной, будто она тоже чего-то ждала. Потом – лёгкий шум, короткий, прерывистый вздох, похожий на тот, что бывает перед трудным при-

знанием.

– Ваня. Привет.

Её голос. Всего два слова, но они обожгли его, как внезапный разряд тока. Он был тише, чем в памяти, приглушённой. И в нём звучала усталость, но не физическая, а какая-то душевная, выгоревшая.

– При... вет, – выдавил он, чувствуя, как пересыхает во рту.

– Как ты? – спросила она. Всегда один и тот же, безопасный, безличный вопрос.

– Но... норм-ально. – Он ненавидел это слово. Оно ничего не значило. «Нормально» – это когда ты можешь ходить, говорить, жить. У него не было «нормально». Было «приспособился», «терпимо», «сегодня меньше болит».

– Учёба? – снова шаблон, попытка заполнить паузу чем-то, что когда-то имело значение.

– Да, – солгал он. Он не учился. Он выживал и творил. Но объяснять это было долго и мучительно.

Долгая, тягостная пауза. Он слышал её дыхание в трубке – ровное, но какое-то нарочито спокойное, искусственное, как будто она сдерживалась, контролировала каждый вдох и выдох, чтобы не выдать ничего лишнего.

– Мама говорит, ты... что-то сочиняешь. Музыку, – наконец прозвучало не шаблонное. В её голосе пробились неуверенная, робкая, почти испуганная попытка проявить интерес. Как будто она касалась чего-то горячего и боялась об-

жечья.

Ваня удивлённо поднял взгляд на бабушку. Та стояла, отвернувшись к окну, скрестив руки на груди в классической защитной позе. Но она рассказала. Значит, не всё так безнадежно в её неприятии. Значит, в какой-то момент, возможно, в порыве гнева или гордости, она всё-таки выдала его тайну.

– Да, – сказал он, и почувствовал, как в горле пересохло ещё сильнее. – На ком... пьютере. С по... помощью взгляда.

– Это... хорошо, – сказала она, и в её голосе прозвучало что-то вроде облегчения, будто она нашла наконец безопасную нейтральную территорию. – Ты... давно?

– Год. Боль... ше. По... после выписки. – Он не стал говорить, что это было единственным спасением от отчаяния.

Ещё пауза. Казалось, она исчерпала запас даже этих осторожных, бережных тем. Он представлял её в своей московской квартире, может, в кабинете, стоящей у окна с видом на ночной город, сжимающей трубку так же, как он, и не знающей, что сказать сыну-инвалиду, который вдруг стал заниматься чем-то столь абстрактным, как компьютерная музыка.

– Я... я денег перевела. Бабушке сказала. Можешь что-нибудь... купить. Для музыки. Оборудование какое-нибудь, – наконец выдавила она, возвращаясь к привычной, понятной ей роли спонсора.

«Не в магазине, Елена, подарки не заказывают. Ему нужно не оборудование, а мать». Слова бабушки, сказанные утром,

прозвучали у него в голове с новой силой.

– Спа... сибо, – машинально сказал он, чувствуя, как внутри что-то ожесточается. Эти деньги были похожи на плату за невмешательство. Откуп.

– Ваня... – её голос вдруг дрогнул, в нём прорвалось что-то живое, незащищённое. Она замолчала, будто испугалась этой дрожи, этого прорыва плотины. – С днём рождения. Заранее.

– Спа... сибо. – Повторение этого слова звучало уже как абсурд.

Больше говорить было не о чем. Молчание в трубке стало невыносимым, физически давящим. Он слышал, как она пытается что-то сказать, как воздух проходит сквозь её сжатые губы, но слов нет. И у него их нет. Только этот ком в горле и тихий, предательский стук собственного сердца в ушах.

– Ну... будь здоров, – наконец выдохнула она, и это прозвучало не как прощание, а как капитуляция. Как признание поражения в этой попытке хоть какого-то контакта.

– И ты, – прощebetал он, и его голос, тихий и хриплый, казался ему жалкой пародией на прощание.

Щелчок. Короткие, равнодушные гудки. Он медленно, будто в замедленной съёмке, опустил трубку на рычаг аппарата. Лёгкий, но отчётливый стук пластика о пластик разнёсся по тихой, теперь уже мёртвой кухне.

Анна Ивановна обернулась. Её лицо было усталым и печальным.

– Ну? О чём говорили? – спросила она без особой надежды.

– Ни о чём, – честно ответил Ваня, и это была самая горькая правда. – Спро... спросила про музыку.

– И что?

– Ска... зала «хорошо». И де... нег перевела.

Бабушка фыркнула, но в этом фыркание не было уже прежней ярости, только глубокая, всепроникающая усталость от этой бесконечной, бессмысленной войны.

– «Хорошо»... Легко сказать, сидя в своей московской башне. А послушать – нет. Приехать – нет. – Она подошла, взяла трубку, поправила её на аппарате, будто хоронила очередную неудачную попытку. – Ладно. Иди спать. Уже поздно. Завтра... завтра новый день.

Но Ваня не хотел спать. Его переполняла странная, тяжёлая энергия отчаяния и понимания. Он вернулся в комнату, но не к компьютеру. Он подкатился к старому бабушкиному серванту, реликвии ещё советских времён. В нижнем ящике, под стопками накрахмаленных, редко используемых скатертей, лежала старая фотография в простой деревянной рамке. Он редко её доставал. Это было слишком больно, слишком похоже на вскрытие свежего, плохо зажившего шрама.

Сегодня он достал. Свет от настольной лампы упал на слегка пожелтевший снимок. Ему лет пятнадцать, он стоит, обняв мать за плечи, на фоне какой-то речки, кажется, это была их последняя совместная поездка на природу. Он вы-

сокий, улыбающийся во весь рот, с гитарой за спиной. Она – в лёгком летнем платье, прижалась к нему, и её улыбка кажется искренней, но глаза, если приглядеться, смотрят куда-то мимо объектива, в будущее, которое её, видимо, уже тогда пугало своей неопределённостью. Он, молодой, здоровый, полный сил, смотрит прямо в камеру с безмятежным, детским ещё доверием ко всему миру. Он ещё не знает, что через два года его жизнь разобьётся на «до» и «после», а мама, которая сейчас так крепко обнимает его, отступит в тень, не в силах вынести вид осколков.

Он положил фотографию на стол и положил рядом свою правую руку – сжатую, с искривлёнными пальцами, с тонкими шрамами от хирургических разрезов. И левую – более послушную, но всё равно чужую, с дрожью и плохой координацией. И посмотрел на них. На инструменты, которые ему оставила авария. Невразумительные, непослушные, но свои единственные. И на инструмент на фотографии – гитару, которую он больше не мог обнять, струны, которых не мог касаться.

«Она боится, что её любовь ранит тебя ещё сильнее». Откуда пришла эта мысль? Не из слов бабушки, слишком прямолинейных. Из глубин его собственного, нового понимания боли. Мать видела, как мир каждый день причиняет ему боль: физическими барьерами, жалостью, непониманием, его собственными ограничениями. И, возможно, в своём искажённом чувстве вины, она решила, что её собствен-

ная боль, её отчаяние, её слёзы – станут для него просто дополнительной, непосильной тяжестью. Что лучше быть далёким, безличным источником денег и редких, тяжёлых звонков, чем близким, живым источником страдания, который он, будучи прикованным, не сможет ни утешить, ни оттолкнуть. Что её присутствие будет постоянным напоминанием о потере – для них обоих.

Это было глупо. Это было жестоко по отношению к нему. Но в этом была своя, извращённая, раненой логика. Логика человека, сломленного не его увечьем, а собственным бессилием что-либо изменить, собственным страхом снова полюбить того, кого можно в любой момент потерять по-настоящему. Она потеряла того Ване, что на фотографии. А этого, нового, она не знала и, возможно, боялась узнать, потому что это означало бы принять весь ужас случившегося без возможности отмотать время назад.

Он убрал фотографию обратно в ящик, под скатерти, в темноту. Всё стало как будто яснее, и от этой ясности не стало легче. Просто боль обрела форму, структуру, словно сложный музыкальный аккорд. Из тупой, разлитой, всепроникающей она превращалась в острую, локализованную, имеющую конкретный источник и обертоны. Как нота, взявшая наконец верную, пусть и диссонирующую высоту, но от этого не переставшая резать слух, а, может, резавшая ещё сильнее.

Он лёг спать, но долго ворочался, прислушиваясь к зву-

кам ночи, которые теперь были его главными собеседниками. К редким, завывающим вдалеке машинам. К знакомому, успокаивающему храпу бабушки за тонкой стенкой. К монотонному, гипнотическому тиканью часов в зале, отсчитывающих секунды его новой жизни.

И где-то на самой границе сна, в том состоянии, когда тело уже отключено, а сознание ещё парит, ему показалось, что он слышит тот самый, низкочастотный гул отсутствия, фундаментальную тишину материнской любви, превратившуюся в тяготение чёрной дыры. И он понял, что пока этот гул есть — есть и связь. Страшная, болезненная, искажающая, но связь. Она не была пустотой. Она была тяжёлой, невидимой массой, которая своим гравитационным полем искривляла всё пространство его жизни, задавала траектории его мыслей и чувств. И чтобы вырваться, чтобы лететь по своей собственной орбите, нужно было не убегать от неё (это было невозможно), а... рассчитать её влияние. Принять как данность. И научиться лететь, учитывая эту искажающую силу. Может быть, даже использовать её в качестве гравитационной рогатки для своего рывка вперёд.

Он заснул с этой неразрешённой, но ставшей чуть более понятной мыслью. А за окном, в чёрном, бархатном августовском небе, снова, как эхо его дневных мыслей, пролетел невидимый журавлиный клин. И его далёкий, тоскующий крик был уже не просто тоской, а сложным вопросом, повисшим в холодном, предосеннем воздухе. Вопросом о том, как

лететь дальше, когда часть стаи отстала, а собственные крылья сломаны. И есть ли в этом полёте в одиночку своя, особая, печальная красота, достойная того, чтобы её запечатлеть в звуке.

Глава 4. Бабочки Анны Ивановны

Воспоминание не было линейным. Оно всплывало обрывками, как плёнка, повреждённая временем, с выцветшими цветами и подёрнутым рябью звуком. Но для Вани это было не воспоминание в полном смысле. Скорее, миф. Сакральная история его личного сотворения мира, которая передавалась не словами, а ощущениями, запахами, чувством тепла в ладони. Ему было тогда двенадцать. Авария, перевернувшая всё, случилась два года назад. Самые чёрные, провальные месяцы в больницах и реабилитациях уже прошли, оставив после себя не боль, а странное, ледяное онемение – и в полуобездвиженном теле, и в душе. Он уже понимал, что его речь – это мучительный, захлёбывающийся шёпот, который никто, кроме бабушки, не может разобрать. Он уже привык к коляске, к тому, что мир теперь делился на зоны «доступно» и «недоступно». И уже с горечью, острой как стекло, осознавал разницу между «был» и «стал». Прежде он мог бегать, кричать, смеяться громко и заразительно. Теперь даже чтобы попросить стакан воды, нужно было тратить силы целой маленькой битвы с собственным горлом и губами.

Анна Ивановна тогда ещё не была совсем седой. Серебро только легкой проседью трогало её тёмные, жёстко уло-

женные волосы. И ходила она быстрее, и голос её гремел по квартире не с басовитым усталым рокотом, а с отчётливым, учительским металлом. Но глаза... глаза уже были такими же – бледно-голубыми, всепонимающими и всепрощающими, но с твёрдым, негибким стержнем внутри. Именно этот стержень держал на плаву их обоих, когда после аварии и отъезда Елены мир рухнул.

*

Этот день начался с тишины. Необычной. Ваня лежал в своей кровати и слушал. Бабушка не хлопала дверцами шкафов на кухне. Не скрипела половицами в зале. Не напевала себе под нос, разбирая бумаги. Была тишина. Та самая, тревожная. Он знал её. Она обычно предвещала визиты врачей с их безжалостными прогнозами («На этом этапе важно развить мелкую моторику...», а у него дрожали даже непослушные пальцы левой руки) или разговоры о деньгах – две темы, от которых у бабушки сжимались челюсти и холодел взгляд, становясь похожим на заиндевевшее стекло.

Он подозвал её. Звук вышел хриплым, негромким клекотом, больше похожим на выдох. Через минуту она появилась в дверях. Была одета не в домашний халат, а в своё «выходное» платье – тёмно-синее, в мелкую белую полоску, с кружевным воротничком, которое пахло нафталином и другим временем. И поверх – старое, добротное шерстяное пальто цвета хаки, которое она называла «моим танком». На шее был повязан лёгкий шёлковый платок с абстрактным узором.

Она выглядела... собранной. И очень серьёзной, как перед выходом на дуэль или к строгому начальству.

– Ванюша, я ненадолго отлучусь. В центр. Ты тут сам справишься? – спросила она, подходя к кровати и поправляя ему одеяло. Её пальцы, шершавые от хозяйственного мыла, на мгновение прикоснулись к его щеке.

Он кивнул, не в силах спросить «зачем». Вопросы давались ему тяжело, требовали невероятной концентрации на каждом слове, а её лицо, замкнутое и непроницаемое, говорило, что вопросы сейчас нежелательны. В её позе читалась решимость, граничащая с суровостью.

– Хороший мой. Окно не открывай, сквозняк. Я суп в кастрюле оставила, разогреешь в микроволновке, когда захочешь. Ключ под ковриком оставляю.

Она наклонилась, поцеловала его в лоб. Её губы были сухими и тёплыми. От неё пахло тем самым, бабушкиным запахом – лавандовым одеколоном «Сирень», книжной пылью и чем-то неуловимо печальным, старинным, как страницы семейного альбома.

– Я скоро, – сказала она ещё раз, будто убеждая не его, а себя, и вышла из комнаты.

Он слышал, как щёлкнула входная дверь, как загремел тяжёлый замок, который всегда туго поддавался. Тишина в квартире стала абсолютной, густой, почти осязаемой. И в этой тишине он почувствовал, как что-то изменилось. Не просто бабушка ушла по делам. Ушла часть атмосферы,

часть защитного поля, которое она вокруг него создавала каждый день своими разговорами, шумом кастрюль, даже своим ворчанием. Комната стала больше, холоднее, пустее. Она вернулась в состояние «после аварии» – безжизненной скорлупы, где он был заперт один на один с четырьмя стенами и собственным, предательски тихим телом.

Он лежал и смотрел в потолок, где трещина в штукатурке образовывала причудливый контур, похожий то ли на дракона, то ли на искривлённое дерево. И слушал. Слушал, как гудит в пустоте холодильник – ровный, низкий гул, фоновая нота его одиночества. Как где-то сверху, у соседей, включили дрель – резкий, яростный, дробящий звук, врезавшийся в тишину, как нож в масло. Как плачет ребёнок за стеной – живой, здоровый, требовательный рёв, от которого щемило где-то глубоко внутри, в месте, где хранилась память о его собственном, беззаботном детстве. И своё собственное, неровное дыхание, которое иногда срывалось на хрип, будто лёгкие забывали, как работать правильно.

Прошёл час. Два. Суп он не стал разогревать. Не хотелось. Тревога, тихая и беспредметная, сверлила его изнутри, заставляя сердце биться чаще. Куда она ушла? Зачем так нарядилась? Она редко ходила в центр просто так. Обычные маршруты – поликлиника, отделение соцзащиты с их униительными анкетами, банк оплатить коммуналку. Туда она ходила в простом плаще и в берете, с огромной потрёпанной сумкой для документов. А сегодня... сегодня был какой-то

ритуал. Выход в свет, но не для радости. Для чего-то важного и, судя по её лицу, тяжёлого.

И вот, наконец, он услышал скрип ключа в замке. Сердце ёкнуло, упало куда-то вниз, потом застучало с новой силой. Дверь открылась, закрылась с глухим щелчком. Шаги в коридоре были медленными, усталыми, волочащимися. Не было привычного шуршания пакетов, звонка ключей, брошенного на тумбочку, отрывистого «Вань, я дома!». Была только давящая, тяжёлая тишина, которую несли эти шаги.

Он ждал, что она зайдёт, проверит, как он, спросит про суп. Но она не зашла. Он услышал, как в зале скрипнула пружина старого кресла-качалки – её кресла. Того самого, в котором она читала ему когда-то вслух, штопала носки или просто смотрела в окно на падающий снег, когда силы были на исходе. И потом – долгое, безмолвное сидение. Даже кресло не скрипело. Полная статика.

Ему стало страшно. Не за себя. За неё. Эта тишина была нехорошей, похоронной. Он сгрёб одеяло, сбросил его на пол и, ухватившись за спинку кровати, медленно, мучительно, как всегда, сполз в свою инвалидную коляску, которая стояла рядом. Тело не слушалось, было тяжёлым и чужим. Управлять коляской он уже худо-бедно научился, хоть и неловко, часто наезжая на косяки. Он выкатился в коридор, холодный и тёмный в этот осенний вечер.

Дверь в зал была приоткрыта. Он заглянул, затаив дыхание.

Анна Ивановна сидела в кресле-качалке. Она не качалась. Она сидела неподвижно, откинувшись на спинку, и смотрела в окно, за которым медленно темнел осенний день, сливаясь с грязным стеклом в единую серо-свинцовую массу. Пальто её было сброшено на диван, как броня после боя. Платок развязан и валялся рядом. В руках она что-то держала, перебирала пальцами, но движения были механическими, бесчувственными. Лучи закатного солнца, пробивавшиеся сквозь пыльные стёкла, падали на неё косым лучом, окрашивая в медный, почти зловещий цвет её резкий профиль, её неподвижные, сложенные на коленях руки.

Он качнулся вперёд, и колёса коляски слегка скрипнули по старому линолеуму.

Она обернулась. И он увидел её лицо. Оно было не заплаканным. Оно было пустым. Такой пустоты, опустошённости он у неё никогда не видел. Даже в самые страшные дни в больнице в её глазах горел огонь – ярости, борьбы, отрицания. Сейчас огонь погас. Будто из неё вынули душу, оставив только оболочку – обветренную, усталую до самого дна, до последней клеточки.

– Ванюша, – сказала она тихо, и голос её был чужим, безжизненным, лишённым всех привычных оттенков – ни металла, ни тепла. Просто звук. – Ты чего?

Он не ответил. Не мог. Он подкатился ближе, стараясь не шуметь. И тогда увидел, что она держит в руках. Маленькую, потёртую временем шкатулку из тёмного, почти чёрно-

го дерева, с инкрустацией в виде виноградной лозы – тонкой, изящной, но потускневшей. Шкатулку, которая всегда стояла на самом верху серванта, в «святая святых», рядом с фотографией прадеда-ювелира и орденскими планками. Туда, куда ему забираться запрещалось. И на её раскрытой ладони, на фоне грубой, исчерченной прожилками кожи, лежали... серьги.

Он никогда не видел таких серёг. Они были большими, ажурными, сделанными, как ему показалось, из серебра, хотя металл и потускнел, почернел в завитках. Но главное – их форма. Это были бабочки. Не просто стилизованные, а невероятно детализированные, с тончайшими усиками-пружинками, которые дрожали при малейшем движении воздуха, с прожилками на крыльях, выложенными мельчайшими камнями – возможно, гранатами, потому что они отливали глубоким, тёмно-красным цветом, как запекшаяся кровь или старинное вино. Бабочки были красивыми и бесконечно печальными одновременно. Застывшими в одном мгновении полёта, навсегда прикованными к ювелирному крючку. Символ свободы, ставший украшением.

– Что... это? – сумел он выговорить, заставляя каждый слог выйти из скованного горла.

Анна Ивановна посмотрела на серьги, потом на него. И в её пустых, выцветших глазах что-то дрогнуло, ожило – не радость, а глубокая боль памяти.

– Это... фамильные. Моей мамы. Твоей прабабушки,

Клавдии, — сказала она медленно, растягивая слова, как будто вспоминала давно забытый, очень трудный урок. — Она их получила в подарок от своего жениха, моего отца, твоего прадеда Григория, перед самой войной. Он был ювелиром. Самоучкой, но с золотыми руками. Сам придумал, сам сделал. Потом... потом он ушёл на фронт. В сорок втором. И не вернулся. Пропал без вести где-то под Ржевом. А она... она носила их только по самым большим праздникам. На День Победы. На мою свадьбу... Потом мне отдала. Перед самой смертью. Сказала: «Носи, Ань. Это — вся наша любовь. Вся, что успела». — Голос её задрожал, но слёз не было. Она была суха, как осенний лист, готовый рассыпаться от любого прикосновения.

Она поднесла ладонь ближе к его лицу, давая рассмотреть в последних лучах света.

— Видишь, какая работа? Каждый лепесток, каждая жилочка. Он неделями, наверное, выпиливал, вытачивал... Он очень её любил. И в этих бабочках... вся его любовь. Вся его недожитая жизнь, вся его тоска по мирному небу, по которому должны летать бабочки, а не «мессершмитты». Вся наша семейная память.

Ваня смотрел, замороженный. Он никогда не думал о вещах как о хранителях таких глубоких, таких личных историй. Для него история была в звуках: в скрипе половиц, хранящем шаги поколений, в голосах из репродуктора, в старой пластинке с вальсом. А тут... маленький, холодный предмет,

в котором была заключена целая вселенная чувств, война, любовь, смерть, надежда. И эта все лежало на ладони его бабушки, выглядевшей вдруг необычайно хрупкой.

– Зачем... достала? – снова выдавил он вопрос, уже догадываясь, но не веря.

Анна Ивановна долго молчала. Потом закрыла шкатулку с тихим, но окончательным щелчком, будто захлопнула дверь в целую эпоху.

– Я их сегодня продала, – сказала она ровным, монотонным голосом, как будто сообщала, что на улице похолодало или закончился хлеб.

Продала. Слово повисло в воздухе между ними, тяжёлое, непонятное, чужеродное. Оно не сочеталось с понятиями «память», «любовь», «фамильное». Оно было из другого, жестокого мира, мира выживания, в который они погрузились после аварии.

– По... чему? – прошептал он, чувствуя, как ком подкапывает к горлу.

– Потому что нужны деньги, Ванюша, – она вздохнула, и этот вздох вышел из неё таким глубоким, таким надорванным, будто она выдохнула всю свою усталость, всю тревогу, все бессонные ночи за последние два года. – Врачи, те, что поумнее, говорят – тебе нельзя замыкаться. Мозг работает, голова светлая! Руки... руки плохо слушаются, да. Речь... – она на мгновение зажмурилась, – речь пока не возвращается. Но ты же всё понимаешь! Ты же всё видишь, всё слышишь!

Нужно дать тебе инструмент. Такой, которым ты сможешь управлять. Чем? Глазами. Глаза-то у тебя хорошие, живые, умные. Ты ими весь мир ловишь.

Он не понимал. Ни слова «инструмент» в этом контексте, ни тем более – как можно управлять чем-то глазами? Это звучало как фантастика, как магия.

Она встала, движения её были скованными, будто каждое стоило невероятных усилий. Прошла к стенке, где стоял старый платяной шкаф, скрипнула дверцей. Оттуда она вытащила не пакет, а большую, плотную картонную коробку с цветным логотипом, которая выглядела чужеродно в этой обстановке старой мебели и выцветших обоев. Принесла её, поставила на низкий журнальный стол перед ним с глухим стуком.

– Открой, – сказала она просто.

Руки его дрожали, левая плохо слушалась. Он с трудом, но упрямо поддел пальцами крышку картонной коробки. Та поддалась с шелестом. Внутри, надёжно упакованный в белые пенопластовые гранулы, похожие на снег или на стиральную стружку, лежал ноутбук. Не такой, как раньше был у него – игровой и громоздкий. А тонкий, серебристый, со строгими линиями, современный и дорогой на вид. Рядом лежала небольшая чёрная коробочка с объективом и диск в бумажном конверте.

– Это специальный компьютер, – объяснила Анна Ивановна, и в её голосе наконец пробились нотки чего-то, кроме

усталости – азарта, надежды, граничащей с отчаянием. – На него можно поставить особую программу. И вот эта штука, – она ткнула пальцем в чёрную коробочку, – это камера. Она будет следить за твоими глазами. Куда ты смотришь на экране – туда и будет нажиматься курсор. Ты сможешь писать. Рисовать. И... – она сделала паузу, вкладывая в последующие слова всю веру, на которую была способна, – сочинять музыку. Есть такие программы, где ноты, звуки можно расставлять, складывать, просто смотря на них. Играть, не касаясь клавиш.

Она говорила это, но сама, казалось, не до конца верила в магию этих слов. Для неё, человека, выросшего на чернилах, перьевых ручках и бумажных партитурах, это было сродни колдовству, шаманству. Но это был единственный маяк в крошечной тьме безысходности.

Ваня смотрел на блестящий, холодный корпус ноутбука, потом на потёртую шкатулку, которую она всё ещё сжимала в другой руке. В его голове, отравленной горем и чувством вины за сломанную жизнь бабушки, произошло не простое, а чудовищное уравнение. **Бабочки = последняя память о прадеде, о счастье, о нормальной жизни. Продажа бабочек = окончательный разрыв с тем миром. Деньги от бабочек = компьютер. Компьютер = призрачный шанс. Шанс = возможность не быть обузой. Возможность что-то сказать.** Но чтобы получить этот шанс, нужно было уничтожить реликвию. Она продала не просто вещь.

Она продала последний оплот семьи, последнее красивое, неутилитарное, священное, что у них было. Ради него. Ради инвалида, который не может даже «спасибо» внятно сказать.

И тогда с ним случилось то, что случалось нечасто после аварии, когда слёзы, казалось, высохли навсегда. Они хлынули. Беззвучно, потоками, заливая лицо, капая на неподвижные колени. Это были не детские слёзы обиды, а слёзы взрослого, горького, беспощадного понимания. Понимания цены, которую за него заплатили.

– Ой, Ванюша, родной мой, что ты, что ты? – Анна Ивановна ахнула, бросилась к нему, присела на корточки, обхватила его худые, негнущиеся плечи, прижала к своей груди, пахнувшей лавандой и осенней улицей. – Не плачь! Ты чего? Это же хорошо! Это же твой шанс! Ты теперь сможешь...

– Про... дала, – выдохнул он сквозь спазмы в горле, лицо уткнувшись в её шерстяное платье. – Ба... бабочек. Пра... деда. Всё... про... дала.

Он чувствовал, как её тело на мгновение окаменело от этих слов, от их жестокой точности. Потом она мягко, но решительно отстранила его, взяла его мокрое, искажённое гримасой лицо в свои шершавые, сильные ладони и заставила посмотреть на себя. В её глазах теперь не было пустоты. Горела та самая, нестигаемая сталь.

– Слушай меня, Иван Соколов. Слушай внимательно, – сказала она, и каждый звук отчеканивала, как гвоздь. – Вещи – это вещи. Они сделаны из металла, камней и дерева. Да, в

них живёт память. Но память — она не в вещах. Она тут. — Она ткнула указательным пальцем ему в лоб, прямо между глаз. — И тут. — Положила свою большую, тёплую ладонь ему на грудь, где под тонкой майкой бешено и сбито стучало его сердце. — Прабабушка моя, Клавдия Петровна, была железной женщиной. Она одну войну прошла, другую пережила. Если б она знала, для чего пойдут её серёжки... она бы сама первой, не дрогнув, понесла их в скупку. Потому что дети и внуки — это и есть продолжение. Единственное настоящее, живое продолжение. В тебе течёт и её кровь, и кровь того ювелира, что эти бабочки выточил. Значит, его дар — не в серебре. Его дар — в тебе. В твоей голове. В твоём сердце. А бабочки... — она махнула рукой в сторону шкатулки с таким жестом, будто отмахивалась от назойливой мухи, — пусть летят. Они своё отлетали. Они хранили память. Теперь их дело — помочь тебе взлететь. По-своему. По-новому. Понимаешь?

Он смотрел на неё сквозь пелену слёз, и её лицо расплывалось, двоилось. Но твёрдость в её глазах, решимость в складках у рта были абсолютными, не оставляющими места для сомнений или сожалений. Она не совершала жертву. Она совершала стратегический переворот. Меняла прошлое на будущее. И не позволяла себе ни на секунду усомниться в правильности этого обмена.

— А... а если не... смогу? — прошептал он, озвучив свой самый большой, чудовищный страх, который глодал его по ночам. — Если... не по... получится? Ничего... не выйдет?

Что, если он окажется настолько сломан, что даже эта волшебная машина не даст ему голоса? Что, если внутри него, в месте, где раньше рождались смех, песни, крики радости, теперь одна сплошная, мёртвая тишина?

Тогда она улыбнулась. И это была не та улыбка, которой она встречала соседок или соработников. Это была улыбка командира, ведущего своего последнего солдата в решающую атаку. Улыбка, полная безрассудной веры и бесконечной силы.

– Получится, – сказала она так просто и ясно, будто сообщала закон природы. – Потому что ты – мой внук. И у тебя особый ритм сердца. Я это всегда слышала, даже когда ты маленький был. Твой ритм – не такой, как у всех. Он сложный. А раз есть ритм – значит, где-то внутри тебя уже есть и музыка. Осталось только дать ей выход. Вот этот ящик, – она постучала костяшками пальцев по картонной коробке, – он и будет выходом. Инструментом. А бабочки... они просто поменяли форму. Раньше были серёжками. Украшением. А теперь стали... стали твоим будущим. Стали твоим голосом. Разве это плохо? Это прекрасно. Это как... как перерождение.

Он не знал, прекрасно это или ужасно. Он был слишком травмирован, чтобы оценить всю грандиозность и жертвенность её поступка. Но он почувствовал невероятную, давящую тяжесть возложенной на него ответственности. Этот блестящий ящик, купленный на память, на любовь, на саму

душу их рода, нельзя было просто принять. Его нужно было оправдать. Заставить высечь искру из той мёртвой тишины, что была внутри. Иначе всё – и память прадеда, и любовь прабабушки, и эта страшная, опустошённая усталость на лице его бабушки – всё это будет поглощено пустотой. Навсегда.

– Я по... пробую, – выдавил он, всхлипывая, но уже пытаюсь остановить слёзы. Они были бесполезны. Нужны были действия.

– И попробуешь, – кивнула она, и в её кивке была вся вселенская уверенность. – А теперь хватит реветь. Мужчина. Давай-ка смотреть, как эта штука работает. Я, правда, сама мало что поняла, но дядя Коля, сын нашей дворничихи, он в этих ваших компьютерах как рыба в воде, он всё установит и растолкует. Я его уже предупредила.

Она вытерла ему лицо своим развязанным шёлковым платком, пахнущим тем же лавандовым одеколоном и теперь ещё – его солёными слезами. Потом подняла коробку, не показав и тени того, как она тяжела, и понесла её в его комнату. Он развернул коляску и поплёлся за ней, чувствуя, как каждый мускул в его теле ноет от напряжения и пережитого потрясения.

Вечером, как и было обещано, пришёл дядя Коля – долговязый, веснушчатый парень лет двадцати пяти в растянутом свитере и с стеклянным, отрешённым взглядом человека, привыкшего общаться с мониторами. От него пахло си-

гаретами, дешёвым кофе и чем-то электронным. Он молча, с сосредоточенным видом профессионала, начал возиться с ноутбуком, что-то бормоча про «драйверы», «интерфейсы» и «настройку трекинга». Анна Ивановна стояла рядом, похвалившись, как солдат на посту, и задавала короткие, точные вопросы, на которые тот терпеливо, но с видимой скукой отвечал.

– Вот, Анна Ивановна, смотрите. Видите эту калибровку? Камера видит его зрачки. Он смотрит на экран, наводит взгляд, скажем, на иконку нотного редактора, и задерживает на две-три секунды. Программа это расценивает как клик левой кнопкой мыши. И нотный стан активируется. Понятно?

– Колдовство какое-то, – мрачно констатировала бабушка, но в её прищуренных глазах горел не суеверный страх, а жадный азарт исследователя. – Но пусть будет колдовство. Лишь бы работало.

Когда всё было готово, и на экране загорелся рабочий стол с непривычно крупными иконками (дядя Коля увеличил их специально), он посадил Ваню перед ноутбуком, поправив камеру так, чтобы она чётко ловила его лицо.

– Ну-ка, Вань, посмотри вот сюда, на этот зелёный кружок. Задержись, не моргай.

Ваня послушно направил взгляд в указанную точку. На экране появился небольшой зелёный кружок, который дрогнул и стал отслеживать малейшие движения его глазного яб-

лока. Это было странное, почти мистическое чувство – видеть собственный взгляд материализованным в виде светящейся точки на экране. Он замер, стараясь не моргать, подавляя естественный рефлекс. Прошло три секунды. Иконка «Мой компьютер» послушно открылась, обнажив структуру папок.

– Ура! Технологии! – провозгласил дядя Коля без особого энтузиазма, но с долей удовлетворения. – Работает. Теперь пробуй просто водить взглядом. Видишь, кружок за тобой повторяет.

Кружок и правда повторял. Он плавал по экрану, как призрак его собственного внимания, живое доказательство того, что связь между мозгом и миром ещё не разорвана окончательно. Это было пугающе и невероятно волнующе. Как будто часть его «я», та, что отвечала за волю, за намерение, вырвалась из парализованной плоти и получила новый, цифровой аватар.

– А музыка? – не унималась Анна Ивановна. – Вы же говорили, там программа для музыки?

– Audacity я поставил, бесплатную, для записи и монтажа звука. Для начала сойдёт. Потом, если втянется, можно и профессиональные среды поставить, они, правда, дорогие. Вот, я папку создал на рабочем столе – «Звуки Вани». Туда можно свои записи скидывать, сортировать.

Он показал ещё несколько базовых функций, как создавать дорожки, накладывать простейшие эффекты, потом, по-

лучив от Анны Ивановны аккуратно отсчитанную пачку купюр (Ваня видел, как та достаёт их из конверта, оставшегося от продажи серёг), ушёл, пообещав «быть на связи».

И они остались вдвоём в полумраке комнаты, в свете настольной лампы и холодного, голубоватого свечения экрана нового ноутбука. Тишина снова сгустилась, но теперь она была иной – наполненной ожиданием, возможностью.

– Ну? – сказала бабушка, пододвигая табуретку ближе. Её голос снова обрёл привычные, тёплые, живые интонации. – Пробуй, внучек. Давай, сотвори что-нибудь.

Он боялся. Ужасно боялся. Боялся не справиться, не понять, выглядеть глупо. Боялся, что эта хрупкая магия окажется иллюзией, что его глаза, как и всё остальное, подведут. Боялся разочаровать её, увидеть в её глазах ту самую пустоту разочарования.

Но отступать было нельзя. Цена вопроса была слишком высока. Он перевёл взгляд (и зелёный кружок послушно прыгнул за ним) на иконку звукового редактора. Задержался. Программа открылась с тихим щелчком. Перед ним растелилось пустое, серое поле с несколькими дорожками, похожее на бесконечную, чистую ленту времени, которую предстояло заполнить.

– Что ты хочешь сделать? – тихо спросила Анна Ивановна, как будто они находились в святилище.

Что? В голове был хаос. Страх, волнение, остатки слёз. Но сквозь этот хаос пробивался один-единственный, чистый

звук, который он слышал сегодня днём, лежа один в тишине. Тот самый, протяжный, одинокий скрип качелей во дворе. «Же-лез-ны-е ка-че-ли... на-ве-ва-ют грусть...» – всплыла строчка из какой-то забытой песни. Этот скрип был голосом одиночества, но и голосом детства, которого он лишился.

Он нашёл взглядом большую красную кнопку записи. Сосредоточился. Нажал (кружок завис над кнопкой, моргнул, и она окрасилась в красный). Полоска времени на экране начала двигаться. Он откатился от стола, подъехал к окну, которое было приоткрыто для проветривания. Осенний воздух был холодным и влажным. Скрип качелей, раскачиваемых ветром на пустой детской площадке, был слышен отчётливо, металлически-пронзительно на фоне вечерней тишины. Он сидел и просто слушал, а чувствительный микрофон ноутбука ловил каждый звук, каждую крупницу акустической реальности. Минуту. Две. Потом он вернулся к столу, нашёл взглядом кнопку «Стоп» и нажал.

На экране образовалась волнистая звуковая дорожка – графическое отображение того самого скрипа. Ровная, с периодическими всплесками.

– А теперь что? – прошептала бабушка, затаив дыхание.

Теперь нужно было это как-то... оживить. Превратить запись в нечто большее. Он не знал как. Он наугад, с помощью своего зелёного «курсора», стал тыкаться в разные меню. Нашёл «Эффекты». Выбрал «Эхо». Открылось окно с непонятными ползунками. Он поставил их наугад, на макси-

мальные значения, руководствуясь только интуицией. И нажал «Применить», а потом «Проиграть».

Из не самых лучших встроенных колонок ноутбука полился тот же скрип качелей, но преображённый. Теперь за каждым «скри-и-ипом» тянулся длинный, многоголосый, жутковато-красивый шлейф. Эхо накладывалось на эхо, создавая сложную, дрожащую звуковую паутину. Казалось, качаются не одни качели, а десятки, в разных углах огромного, пустого, заброшенного парка, наполненного тенями забытых игр. Звук нарастал, гудел, как рой металлических пчёл, переливался холодными обертонами и медленно, очень медленно затихал, растворяясь в тишине, но оставляя после себя ощущение лёгкого звона в ушах.

Они сидели и слушали. Анна Ивановна не дышала, её руки сжались в кулаки на коленях. Когда последнее эхо окончательно смолкло, она выдохнула долгим, сдавленным стоном.

– Господи Иисусе... – прошептала она, и в её шёпоте было благоговение. – Да это же... Это же как в огромном, пустом соборе... когда один звук рождает целый хор призраков. Или как... как души детей, которые когда-то здесь играли... отзываются. Ваня...

Она повернулась к нему, и в её глазах, широко раскрытых, было нечто большее, чем надежда. Было потрясение. Откровение. Открытие новой вселенной, в которую он только что открыл дверь.

– Ты слышишь, Ванюша? Ты слышишь, что у тебя получилось? Это уже не просто запись. Это... настроение. Это картина. Это уже музыка. Настоящая.

Он смотрел на сложную вязь звуковой волны на экране – наглядное, математически точное отображение преображённого скрипа. И внутри него, в той самой глубине, где, как он боялся, была лишь тишина, что-то щёлкнуло. Не громко. Тихо, но отчётливо. Будто замок, наглухо запертый два года назад, вдруг поддался, и тяжёлая дверь отворилась на миллиметр, пропустив внутрь луч света, а наружу – струйку воздуха. Мост между тем, что он чувствовал и слышал внутри, и внешним миром был построен. Хлипкий, цифровой, но построен. И по нему теперь можно было передавать сообщения. Можно было начать диалог.

Он поднял взгляд на бабушку. Её лицо в голубоватом свете экрана казалось моложе, одухотворённым. И он медленно, очень старательно, чтобы было понятно, кивнул.

– Да. Му... зыка, – произнёс он, и это слово, означавшее теперь нечто несравненно большее, вышло чуть чётче, чем обычно.

В ту ночь он заснул поздно. Он зациклил свою первую, простейшую композицию на повтор. «Скрип-эхо, скрип-эхо, скрип-эхо...» – звучало из колонок, как гипнотическая, меланхоличная колыбельная, спетая призраками старого двора. Анна Ивановна сидела рядом на табуретке, пока он не заснул, и гладила его по коротко остриженным волосам сво-

ей тёплой, грубой ладонью. А когда его дыхание выровнялось и стало глубоким, она ещё долго сидела, смотря то на экран, где волновалась призрачная звуковая дорожка, то на пустую, тёмную шкатулку, одиноко лежавшую на комод. И на её лице не было больше той смертельной пустоты. Была усталость, да, глубокая, костная. Была грусть по безвозвратно ушедшему. Но была и твёрдая, неколебимая, как скала, уверенность. Она не ошиблась. Её бабочки не умерли. Они сбросили серебряную оболочку и улетели в новый мир. Они обрели новый, невероятный полёт – в цифровом эхе детских качелей, в светящихся зелёных точках на экране, в глазах её внука, который только что, впервые за два года немоты и отчаяния, обрёл свой, пусть и странный, но настоящий голос. Голос, который мог теперь говорить с миром на языке, понятном без слов.

А в Ванином сне бабочки действительно летали. Большие, серебряные, с гранатовыми глазами-камнями, которые светились изнутри алым огнём. Они выпорхнули из старой, тёмной шкатулки, легонько звякнув, и закружились в такт тому самому, бесконечно повторяющемуся скрипу с эхом. Они не просто парили – они были звуком, они были самой музыкой, визуальным воплощением только что рождённой мелодии. Они не исчезли. Они преобразились. Стали частью его нового, только что начавшегося пути. И он, двенадцатилетний, сломанный мальчик, уже понимал это на каком-то глубинном, животном, невербальном уровне, доступном только

душе. Жертва не была напрасной. Она была самым рискованным и самым правильным вложением. В него. В его тихий, сложный, полный боли, но абсолютно живой внутренний мир. Теперь он был обязан это вложение оправдать. Не из чувства долга, которое могло раздавить. А из чувства благодарности, которое давало крылья. И из жгучего, почти болезненного любопытства – куда же, в какие неизведанные звуковые миры, заведёт его этот хрупкий, светящийся мост, только что проложенный через бездну его молчания.

Глава 5. Рисунки на балконе

Балкон был последним рубежом хаоса, законсервированным архивом ушедшей жизни. Вся остальная квартира, хоть и заставленная книгами, сувенирами и медицинскими приспособлениями, содержалась Анной Ивановной в строгом, почти спартанском порядке. Здесь же, за запотевшим стеклом балконной двери, царило неукротимое царство забытого. Это был не склад в бытовом смысле, а скорее мавзолей памяти, куда ссылалось всё, что утратило утилитарную ценность, но не могло быть просто выброшено за порог из-за своего эмоционального веса.

Здесь стояли, покрытые пылью и паутиной, сломанные стулья с прогнившим сиденьем, которым когда-то раскачивался его дед, читая газету. Картонные коробки, доверху набитые пожелтевшими тетрадками и сочинениями учеников Анны Ивановны – она не могла вынести мысли о том, чтобы выкинуть чужой, вложенный в строки труд. Свёртки с

обрезками обоев «на всякий случай, если будет дыра», которые ждали своего часа с семидесятых годов. Дедушкина офицерская шинель в полиэтилене, от которой пахло нафталином, историей и непрожитыми историями. Старый чемодан с оторванной ручкой, в котором, возможно, таились семейные тайны, но в который никто не заглядывал. Балкон был третьим, самым тихим и самым пыльным жильцом их хрущёвки, хранителем всего, что было слишком больно или слишком незначительно, чтобы держать на виду.

Именно сюда, в это пыльное святилище памяти, Анна Ивановна и намеревалась совершить решительный рейд. Повод был весомым и прагматичным: из управы прислали уведомление о предстоящей плановой проверке санэпидстанции на предмет грызунов и неудовлетворительных условий. Балкон, с его тёмными, заваленными углами, сыростью и запахом старой бумаги, был идеальным кандидатом на роль мышиного метрополиса. А Анна Ивановна, пережившая блокаду в детстве и связавшая навсегда мышей с голодом и разрухой, панически их боялась. Решение было принято молниеносно и бесповоротно: расчистить, выбросить, продезинфицировать. Действовать на упреждение.

– Ванюша, – объявила она утром, решительно заглядывая в его комнату. На ней уже был старенький рабочий халат поверх платья, а волосы убраны под косынку. – Сегодня генеральная на балконе. Разбираем завалы. Ты мне нужен как главный арбитр и хранитель памяти – будешь сидеть, смот-

реть, что безжалостно на выброс, а что оставить. Руками ты мне, понятно, не поможешь, а вот глаза твои и голова – самое то. Будем решать судьбы.

Он кивнул, не испытывая особого энтузиазма. Балкон был холодным, продуваемым всеми ветрами даже в разгар лета, а сегодня за окном моросил противный, мелкий осенний дождь, превращавший мир в серое марево, и от стекол тянуло сыростью, проникавшей в кости. Но отказать бабушке, увидевшей в этой уборке почти военную операцию, он не мог. Да и самому было интересно – что же там, в этих глубинах, скрывается.

Он подкатился к балконной двери. Анна Ивановна уже отпирала щеколду – скрипучую, тугую. Дверь со стоном отворилась, и на них пахнуло тем самым, уникальным балконным воздухом – плотной смесью пыли столетия, влажного, подгнивающего дерева ящиков, сладковатого запаха ржавого металла и чего-то неуловимого, затхлого, что можно назвать «запахом времени, остановившегося».

– Фу, царство мрачное, – буркнула бабушка, делая первый шаг внутрь, и её ботинок громко хрустнул по рассыпавшемуся слою какой-то трухи. – Ну, поехали, внучек. Первым делом – эти картонные крепости. Я их на свет божий вытащу, а ты верши суд.

Она принялась за работу с энергией паровоза, не знающего сомнений. Ваня остался в дверном проёме, наблюдая, как она, кряхтя, но без остановок, вытаскивает одну за другой

коробки, ставит их перед ним прямо на пол коридора, сдувает с крышек облака пыли, от которых он тут же начинал тихо чихать, и вскрывает картонные створки.

Первые несколько коробок были скучными, как отчет о проделанной работе: папки с аккуратными, выцветшими конспектами уроков по литературе, стопки профессиональных журналов «Литература в школе» за восьмидесятые, коллекция стеклянных пузырьков от духов и одеколонов, которую бабушка собирала в молодости. «Выбрасывай, – говорила она, махнув рукой. – Конспекты – в макулатуру, журналы – туда же, пузырьки – в мусор. Никому не нужны эти старые понты». И Ваня кивал, чувствуя лёгкий укол – столько труда, столько внимания к деталям, и всё это – в утиль.

Потом пошли коробки интереснее, личные. В одной, оклеенной когда-то детскими обоями с корабликами, оказались его собственные, допотопные игрушки – пластмассовая погремушка, неваляшка с потёртой до дыр краской на боку, деревянные кубики с полустёртыми буквами. Бабушка задержалась, достала неваляшку, качнула её. Та издала глухое, но знакомое Ваня до мурашек «бум-бум-бум».

– Помнишь её? – сказала бабушка с внезапно проснувшейся в голосе нежностью. – Ты с ней засыпал. Не отпускал. Даже в больницу после... после всего мы её брали. – Она положила игрушку не в общую кучу «на выброс», а аккуратно отставила в сторону, в сектор «на сохранение». Этот жест был красноречивее любых слов.

В другой коробке, пахнувшей клеем и старым картоном, лежали семейные альбомы с фотографиями. Здесь они застряли надолго, время будто перестало иметь значение. Анна Ивановна, присев на корточки прямо на холодном полу коридора, листала пожелтевшие, плотные страницы, и её голос становился тихим, повествовательным.

– Это я, посмотри, мне двадцать, на практику в пионерлагерь поехала. Смотри какая стройная, как тростинка! – На снимке молодая, улыбчивая девушка в белой блузке, с двумя толстыми косами, стояла среди таких же жизнерадостных вожатых.

– А это твой дед, мой Коля, – она ткнула в фотографию строгого мужчины в военной форме, но без погон. – Он на снимке всегда суровый получался, брови сдвинет, а в жизни – душка был, песенник и рассказчик. Душа компании.

– О, а это твоя мама, – голос её слегка потускнел. На фотографии была маленькая девочка лет семи с двумя аккуратными косичками, перевязанными белыми бантами. Она смотрела в объектив большими, не по-детски серьёзными глазами, в которых уже тогда читалась какая-то внутренняя замкнутость. – Первый класс. Косички, бантики, форма... Отличницей была. И уже тогда в себе...

Ваня смотрел на это детское лицо, и ему было странно, почти невероятно соединить в голове образ этой хрупкой, сосредоточенной девочки с холодной, отстранённой женщиной, чей голос в телефонной трубке звучал как голос автоот-

ветчика – вежливо и бесконечно далеко.

– И куда это всё девается... – вздохнула Анна Ивановна, с лёгким стуком закрывая потрёпанный альбом. Вздох был тяжёлым, полным груза прожитых лет и невосполнимых потерь. – Ладно, хватит раскопок в прошлом. Ностальгия – дело опасное, размякнешь. Работать надо.

Она отодвинула коробку с фотографиями в безопасный угол и, поднявшись, потянулась за длинным, узким предметом, прислонённым к стене в самом дальнем, самом тёмном углу балкона, за тем самым дедовским чемоданом. Это была чёрная пластиковая трубка для хранения чертежей, с герметичными винтовыми крышками на обоих концах. Такие используют архитекторы и художники, чтобы сохранить бумагу от смятия и сырости. Она была не новой, на пластике были потертости и царапины.

– О, это, кажется, Ленино, – сказала Анна Ивановна, вытаскивая трубку на свет. Она была на удивление лёгкой. – Чертежи её, наверное. Или дипломный проект. Давным-давно тут валяется. Может, и выбросить? Всё равно она не вспомнит. Да и нам не нужны.

«Выбросить». Слово ударило по Ване неожиданно остро, словно тонкой иглой в самое сердце. Что-то материнское, пусть и бездушное, свидетельство её труда, её прошлой, «нормальной» жизни, должно было исчезнуть навсегда, раствориться в мусорном баке вместе с огрызками и шкурками, как будто её присутствия в этом доме и не было

вовсе. Без его ведома. Без её ведома. Это казалось символическим убийством, стиранием следов.

– Не... не надо, – сказал он резче, грубее, чем планировал, и его хриплый голос прозвучал почти повелительно.

Бабушка посмотрела на него с искренним удивлением, приподняв брови.

– Почему? Места и так нет. Пылище одно.

– Я по... смотрю, – настоял он, протягивая к трубке руку, пальцы которой непроизвольно сжались в подобие крючка.

Анна Ивановна пожала плечами, выражая всем видом «делай что хочешь», но протянула ему лёгкий пластиковый цилиндр.

– Смотри, решай. Если что-то действительно ценное – оставим. А так... зачем нам её старые бумажки? Ей они явно не уж нужны, раз здесь брошены.

Она отвернулась, погрузившись в исследование следующей коробки, из которой посыпались старые журналы «Работница». Ваня остался один со своей добычей. Он поставил трубку вертикально между колен, упёр в пол и левой, более-менее послушной, хоть и вечно дрожащей рукой, стал откручивать герметичную крышку. Пластиковая резьба поддалась со скрипом, издав звук, похожий на вздох. Внутри пахло не балконной пылью, а чем-то другим – старой, качественной бумагой, может быть, следами туши или пастели, лёгким, едва уловимым ароматом чего-то кабинетного, рабочего. Запахом Лениной прежней жизни.

Он наклонил трубку над коленями, и из неё, слегка проскрипев по пластику, выкатился свёрток. Не один, а несколько, туго свёрнутых в плотные рулоны разного диаметра и перевязанных обычной бечёвкой. Самый большой, внешний рулон был толще остальных. С трудом, помогая зубами, он развязал узел бечёвки и осторожно начал разворачивать бумагу.

Это был действительно архитектурный чертёж. Большой лист ватмана, пожелтевший по краям, выполненный тушью с филигранной точностью. План какого-то общественного здания – может, дворца культуры или административного корпуса. Колонны, лестницы, стрелочки, цифры, аккуратные подписи печатными буквами. Красиво, профессионально, геометрично совершенно. Но для Вани это было абсолютно бездушно, мертво и неинтересно. Это был язык линий и углов, а не звуков и эмоций. Он свернул чертёж обратно, стараясь не помять, и отложил в сторону.

Следующий рулон был поменьше в диаметре, но казался более объёмным. Разворачивая его, он почувствовал, что бумага здесь другая – не плотный ватман, а что-то более тонкое, рыхловатое, обычная офисная бумага для принтера. И когда он распрямил лист, неловко придерживая его края коленями и левой ладонью, дыхание у него сперло, перехватило где-то в самом основании горла.

Это был не чертёж. Это был детский рисунок. Вернее, типичная каракуля. Неуверенными, кривыми линиями, вы-

веденными явно не рукой взрослого и уж точно не рукой, привыкшей к точности, было изображено нечто, отдалённо напоминающее дом с огромной трубой, из которой вились закорючки дыма. Рядом – несколько фигурок-«головоногов»: кружок с палочками вместо рук и ног. В углу красовалось солнце с лучами-запятыми. Внизу – палочки травы. И под всем этим великолепием, выведенная с гигантским трудом, но с гордым, видимым старанием, красовалась подпись: «ВАНЯ». Буквы были разного размера, «Н» лежала почти на боку, но это было его имя.

Он замер. Сердце заколотилось где-то в висках, учащённо и гулко. Он перевернул лист, и бумага хрустнула. На обороте, аккуратным, до боли знакомым по редким открыткам и подписям в документах почерком, было написано: «3 года. Первый «дом». Май.»

Он отложил этот рисунок на свободное колено, руки его слегка дрожали, делая движения ещё более неловкими. Он развернул следующий рулон. Тут было уже чуть получше, виден прогресс: нечто, напоминающее машину, больше похожую на трапецию с кругами-колёсами по бокам. На обороте: «4 года. Любимая машинка. Август.»

Третий рисунок: что-то вроде цветка с лепестками-щупальцами, напоминающего осьминога. Подпись: «4,5 года. «Ромашка для мамы». Сентябрь.»

Он разворачивал один рулон за другим, и перед ним, как страницы летописи, разворачивалась вся его ранняя, допам-

персная, дотравматическая жизнь. Жизнь, когда его главной проблемой была неспособность провести прямую линию, а не неспособность сделать шаг. Каждый рисунок был снабжён такой же аккуратной, скрупулёзной подписью на обороте. Возраст. Название (данное, видимо, им самим в момент творчества, а она запомнила или тут же записала со слов). Месяц. Иногда проставлен и год.

Здесь не было шедевров. Здесь были свидетельства. Попытки что-то сказать миру, запечатлеть его, когда слова ещё не давались или выходили смутными и путанными. Он смотрел на эти каракули и почти физически чувствовал то мышечное напряжение, с которым он когда-то водил толстым карандашом или фломастером, зажатым в непослушных, плохо координируемых пальцах. Помнил ли он сам эти моменты? Смутно, обрывками. Больше помнил ощущения: запах карандашной стружки, грифельную пыль на пальцах, чувство огромного, пьянящего удовлетворения, когда линия вдруг получалась более-менее ровной, и восторженное лицо матери, склонившееся над ним: «Молодец, Ванечка! Как здорово!»

Зачем? Зачем она это хранила? Если она его отвергла, если ей было слишком больно смотреть на него после аварии, если она сбежала в Москву, чтобы забыть, – зачем тогда так бережно, с архивной тщательностью, беречь эти смешные, наивные свидетельства его существования, его первых, робких попыток творить? Зачем каталогизировать память о том,

от чего, казалось бы, бежишь?

Он добрался до последнего, самого маленького и тонкого рулона. Бумага здесь была уже иной – более плотной, гладкой, похожей на бумагу для акварели. Он развернул её, и снова – тихий, но от этого не менее сокрушительный удар под дых.

На рисунке, сделанном явно позже, лет в пять-шесть (то есть незадолго до аварии), он уже пытался изобразить не просто предметы, а целую сцену, историю. Это была семья. Три фигуры. Слева – высокая, в юбке-треугольнике, с точками вместо лица и палочками волос. Посередине – фигурка поменьше, но ключевая: он сидел в инвалидной коляске, которую изобразил в виде прямоугольника с двумя кругами по бокам. Он сам был просто кругом с улыбкой и палочками-руками, раскинутыми в стороны. И справа – ещё одна высокая фигура, но с более расплывчатыми, нечёткими очертаниями, будто он не был уверен, как её рисовать, или торопился. Он пытался нарисовать их всех держащимися за руки, но линии рук не сходились, обрывались, путались друг с другом, создавая хаотичный узор в центре листа. Внизу, коряво, но уже гораздо увереннее, чем в самом первом рисунке, было выведено: «МАМА, Я, БАБА АНЯ».

Это был не просто рисунок. Это был наивный, детский, но оттого не менее мощный манифест. Мечта о целостности. О круге, который должен быть замкнут. О том, чего в реальности не было никогда – даже до аварии, потому что отец уже

исчез, а после — и подавно.

Дыхание у Вани сбилось, стало поверхностным и частым. Он медленно, почти с благоговением, как археолог, нашедший священный текст, перевернул лист.

На обороте была не просто сухая пометка. Там, тем же аккуратным, узнаваемым почерком, но... линии были не такими ровными. Буквы слегка плясали, штрихи были чуть глубже, будто рука, выводившая их, дрожала от напряжения или слёз. И было написано нечто, от чего у него похолодела кожа, а в ушах зазвенела абсолютная тишина, заглушающая даже шум дождя за окном:

«Прости, что не могу смотреть, как мир причиняет тебе боль. Боюсь, моя любовь ранит тебя ещё сильнее. 14 июня.»

Года не было. Но дата... Дата была за неделю до его шестого дня рождения. И, как он смутно помнил со слов бабушки, за неделю до её окончательного отъезда в Москву, навсегда, как тогда всем казалось.

Он сидел, сжимая в левой, дрожащей руке этот хрупкий, хрустящий лист, и мир вокруг перестал существовать. Исчез балкон с его хламом, исчезла бабушка, перебирающая журналы, исчез серый дождь за грязным стеклом. Осталась только эта бумага, холодная на ощупь, и эти слова, написанные чернилами, которые за полтора десятка лет лишь слегка выцвели, обрели буроватый оттенок, но не стёрлись, не расплылись. Они сохранили свою форму и свой страшный смысл.

«Прости, что не могу смотреть...» Не «не хочу». Не «не

буду». «Не могу». Как будто это было физической невозможностью, равносильной попытке смотреть на солнце не моргая. Как дышать под водой. Она не отворачивалась по своей воле. Её заставляло что-то сильнее её воли.

«...как мир причиняет тебе боль.» Она видела. Она не была слепой или равнодушной. Она видела, как на него смотрят чужие люди – с любопытством, жалостью, брезгливостью. Как ему физически тяжело, как он борется с собственным телом, которое стало тюрьмой. Как его дразнили во дворе (краткий, но яркий эпизод, после которого бабушка перестала выводить его гулять в часы детских игр). И эта боль – его боль – была для неё невыносимой. Не потому, что её раздражала, а потому, что проходила сквозь неё, как через резонатор, усиливаясь в сто крат.

«Боюсь, моя любовь ранит тебя ещё сильнее.» Вот он. Ключ. Самая страшная, самая откровенная фраза. Она боялась не его. Не его болезни. Она боялась себя. Своих собственных, неконтролируемых чувств. Своей любви, которая, по её мнению, могла быть ядовитой, удушающей, гиперопекающей, причиняющей ему дополнительные, моральные страдания. Она видела себя не спасителем, не опорой, а угрозой. Потенциальным источником новой боли. Может, она боялась сломаться при нём? Боялась, что её слёзы, её отчаяние станут для него дополнительным грузом? Что её попытки помочь будут неловкими и унижительными для него? Она возвела свою любовь в абсолют – и пришла к выводу, что

эта абсолютная любовь слишком хрупка, чтобы выдержать реальность, и слишком опасна, чтобы проявлять её.

Это была не логика дезертира. Это была логика глубоко раненого, напуганного зверя, который уходит умирать в глухую чащу, чтобы не привлекать к стае хищников, не быть обузой. Логика человека, сломленного не его недугом, а собственным чувством вины, бессилия и, возможно, страха перед будущим. Она считала себя плохой, несостоявшейся, «ядовитой» матерью и решила, что лучшее, что она может сделать – это устраниваться. Оставить его с бабушкой – сильной, нестигаемой, практичной Анной Ивановной, которая не боится боли, а борется с ней. И присылать деньги – простую, понятную, неэмоциональную помощь, которая не ранит.

В голове у Вани всё перевернулось, рухнуло и стало складываться в новую, куда более сложную и страшную картину. Образ, который годами рисовала бабушка – холодная, эгоистичная бегунья, променявшая сына на карьеру и спокойную жизнь, – треснул и рассыпался, как карточный домик. Вместо него возник призрак женщины в ловушке. В ловушке своего материнства, своей непереносимой боли, своего панического страха причинить ещё больший вред. Она не бросила его. Она сбежала от самой себя, от своего «я», которое, как ей казалось, могло его разрушить.

– Ну что, Ваня, нашёл в тех архивах что-нибудь ценное? Или одни чертежи? – раздался голос Анны Ивановны совсем

рядом, застав его врасплох.

Он вздрогнул, словно пойманный на краже, и инстинктивно попытался свернуть злополучный рисунок, спрятать его от её глаз, но левая рука, предательски дрогнув, лишь зашуршала бумагой, сделав его попытку ещё более подозрительной.

Бабушка сразу насторожилась. Её острый, учительский взгляд мгновенно упал на развёрнутый лист у него на коленях, а затем – на его лицо, которое, он чувствовал, было бледным как полотно, а губы, наверное, подрагивали.

– Что это у тебя? – спросила она, и в её голосе уже звучала лёгкая, но чёткая тревога. Она не стала ждать ответа, протянула руку и аккуратно, но решительно взяла рисунок из его ослабевших пальцев. Взглянула на лицевую сторону – три корявые фигурки. Её лицо смягчилось на мгновение, в уголках глаз обозначились лучики морщин-лучиков. – Ах, это же ты рисовал... я этот помню. Помню, потом ты ревел, что руки у тебя не получились и они не держатся... Мы тогда с тобой клеили сверху полоски бумаги, чтобы «соединить»...

Она перевернула лист. Её глаза пробежали по строчкам. И её лицо изменилось. Мгновенная мягкость исчезла, сменившись сначала быстрым непониманием (она перечитала, будто проверяя, правильно ли увидела), потом – медленно, как лава, нарастающим, старым, знакомым гневом. Она прочитала ещё раз, её тонкие, обычно плотно сжатые губы беззвучно повторили слова «ранит тебя ещё сильнее». Цвет, обычно

здоровый румянец, сошёл с её щёк, оставив их землисто-серыми, почти пепельными.

— Господи помилуй... — выдохнула она, и в её выдохе было не умиление, а презрительное недоумение. — Какая... какая слабая, инфантильная, жалкая ерунда! Какая же это чушь собачья!

— Ба... — попытался начать Ваня, желая остановить, объяснить, но она его уже не слышала. Её захлестнула волна давнего, выстраданного, вымороженного в ежедневных битвах негодования. Всё, что она копила годами, прорвалось наружу.

— «Бойтся, моя любовь ранит»! — передразнила она высоким, визгливым, полным сарказма голосом, тряся листом перед его лицом так, что бумага угрожающе захрустела. — Да какая же это, скажи на милость, любовь?! Любовь — это быть рядом, когда тяжело! Любовь — это терпеть, бороться, не спать ночами, мыть, кормить, переворачивать, носить на руках, когда уже спина отваливается! Любовь — это смотреть в глаза, даже если в них одна боль и вопрос «за что?»! А не прятаться в своём коконе страданий! Не прикрываться чертежами, деньгами и красивыми, пустыми словами! Это не любовь, Ваня! Это — слабость! Это малодушие! Это самый настоящий эгоизм, наряженный в тогу мученицы! Ты понимаешь?!

Она говорила с такой силой, что брызги слюны летели на бумагу, и Ваня инстинктивно потянулся, чтобы защитить

хрупкий лист.

– Она всегда такая была! – продолжала бабушка, не обращая внимания на его движение. – Чуть трудность, чуть боль – не решать проблему, а в себя уходить, в свои переживания, в самокопание! Ей важнее было свою душу разбирать, свои чувства жалеть, чем просто взять и сделать что-то нужное, простое, земное! Я её знаю, я её растила! Она не о тебе думала, когда это писала! Она о себе! О том, какая она бедная, несчастная, глубокая и как ей больно! А о том, что тебе в этот момент, может, просто маминой руки нужно было, – она не думала!

– Бабушка! – крикнул он, и это был не его обычный хриплый шёпот, а настоящий, сорвавшийся с самого дна лёгких, хриплый крик, которого у него не было с тех самых пор, как он очнулся в больнице после аварии. – Ост... орожно! Бумага!

Он боялся не за себя. Он боялся, что в порыве ярости она порвёт, скомкает, уничтожит это единственное, хрупкое, материальное доказательство того, что всё было не так однозначно. Порвёт последнюю, зыбкую ниточку, связывающую его с матерью не через денежные переводы, а через чувство, через общую, пусть и извращённую, боль.

Она замерла, увидев его лицо – не испуганное, а яростное, защищающее. В его глазах, обычно таких спокойных и наблюдательных, горел огонь. Она опустила руку, разжала пальцы. Рисунок, чуть помятый, остался цел.

– Ты... ты что, веришь этому? – спросила она тихо, и в её голосе, сквозь гнев, прозвучала нота чего-то очень уязвлённого, похожего на чувство предательства. – Веришь этим красивым, пустым оправданиям? Ты хочешь сказать, что я, которая тут всё это время... я – неправа? А она, которая сбежала, – святая?

Он не знал, верил ли он этим словам целиком. Но он хотел верить. Отчаянно хотел. Потому что альтернатива – полное, тотальное, леденящее безразличие матери – была невыносима. Она убивала в нём последнюю надежду. А эта надпись, даже если она была эгоцентричной, была человеческой. В ней сквозила подлинная, невыдуманная боль. А там, где есть боль, есть и жизнь, есть чувство. Пусть искажённое, пусть ведущее в тупик, но чувство.

– Я не... не знаю, – честно, с трудом выдавил он, отводя взгляд в сторону, на мокрое стекло балконной двери. – Но... но она сбе... сбежала. И от себя тоже. Не только от нас.

– И прекрасно сделала! – взорвалась снова Анна Иванова, но теперь её гнев был холоднее, обдуманнее. – Потому что здесь, рядом с тобой, в этой ежедневной войне, нужно быть сильной, как сталь! Нужно не чувства свои жевать, а делать! А она – тряпка! Она всегда была тряпкой! Ещё в школе, если двойку получит – не пойдёт исправлять, не будет бороться, а в слезы ударится, в самооправдания! Всю жизнь от настоящих проблем бегала в свои выдуманные, красивые страдания! И ты... – её взгляд стал пронзительным, – ты, к

сожалению, в неё пошёл! Слишком мягкий! Слишком готовый всех понять, всех пожалеть, всё объяснить! А иногда, Ваня, нужно просто назвать вещи своими именами! Чёрное – чёрным, белое – белым! И предательство – это предательство! И неважно, какими красивыми, «глубокими» словами его прикрывают!

Она отвернулась от него, резким, почти грубым движением сгребла со стола и с его колен все остальные развёрнутые рисунки, свернула их в один беспорядочный, неаккуратный комок, сунула обратно в чёрную трубку и с силой вкрутила крышку.

– Хочешь – храни эти бумажные сопли. Твоё право. Но чтобы я их больше не видела. Чтобы они мне на глаза не попадались. Ясное дело?

Он молча, подавленно кивнул. Спорить, пытаться объяснить свою точку зрения сейчас было не только бесполезно, но и жестоко по отношению к ней. Её правда была выкована в ежедневных, изматывающих битвах за его существование. Она сражалась на передовой, в окопах, под огнём боли, неловкости, бесконечных медицинских процедур и унижительных справок. А мать, с её точки зрения, наблюдала с далёкого, безопасного холма, присылая время от времени патроны (деньги) и письма, полные самобичевания. Для бабушки, солдата, эти письма были не поддержкой, а издевательством. Они не облегчали её ношу, а лишь подчёркивали, что она одна несёт эту ношу.

— Ладно, — сказала она, уже спокойнее, но холодно, вытирая руки о свой рабочий халат, будто стирая с них не только пыль, но и само прикосновение к тем чернилам, к той «слабости». — Хватит на сегодня. Мороз по коже от этой сырости и... от всего. Заноси свою трубку, если хочешь. Прячь куда глаза не видят. А я пойду, чаю крепкого сделаю. Согреемся. А то совсем заledenели.

Она вышла с балкона, не оглядываясь, и плотно, с некоторым усилием, закрыла за собой дверь. Ваня остался один в полумраке застеклённого пространства, с чёрной пластиковой трубкой, лежащей на коленях как трофей или как обвинение. Дождь забарабанил по крыше балкона чаще, переходя в настоящий ливень. Он прижал холодный цилиндр к груди, чувствуя, как внутри, прижатые друг к другу, хрустят те самые, спасённые им от забвения (и от бабушкиного гнева) листы.

Он не был наивен. Он не верил в красивую ложь, в оправдания, написанные для успокоения собственной совести. Но он поверил в боль. В подлинную, вырвавшуюся наружу агонию души. И эта боль, зафиксированная на обороте детского рисунка чёрными, немного расплывшимися чернилами, была первым за долгие годы честным, пусть и запоздалым, пусть и односторонним, разговором с матерью. Разговором, в котором не было ни лжи, ни отговорок, только голое, неприкрытое признание собственного страха и бессилия.

Он откатился внутрь, в тепло и уют квартиры, унося с собой эту странную, тяжёлую душевную добычу. Он не знал, что с ней делать дальше. Показать матери? Бесполезно и жестоко. Она, скорее всего, отшатнётся, как от призрака прошлого, который явился, чтобы обвинить. Обсудить с бабушкой снова? Невозможно. Для неё эта тема была закрыта, запечатана гневом и разочарованием.

Оставалось только одно – переварить в одиночестве. Принять этот новый, мучительно сложный факт в свою картину мира. Его мать не была чудовищем. Не была бессердечной карьеристкой. Она была глубоко ранена. И её рана – чувство вины, страх, гипертрофированное ощущение ответственности, перешедшее в паралич воли, – была настолько глубока, что она предпочла физически и эмоционально изолировать себя, чтобы, как она искренне верила, не заразить его своей болью, не стать для него дополнительным грузом.

Это не оправдывало её. Ни на йоту. Это объясняло. И в какой-то странной, извращённой, трагической логике – даже возвышало в его глазах. Она совершила не акт бегства от проблемы, а акт жертвы. Ужасной, неправильной, глупой, детской в своей незрелости жертвы, но жертвы. Она принесла в жертву себя, своё материнское счастье, свои права на любовь и близость, чтобы, как она ошибочно полагала, не сделать ему ещё хуже своим присутствием.

И теперь, зная это, обладая этим знанием, он не мог оставаться прежним. Не мог просто сидеть в своей коляске в хру-

щёвке на окраине, ждать редких звонков и жить надеждой, что она однажды «одумается» и вернётся. Потому что она не одумается. Она заперта в своей собственной, выстроенной из чувства вины и страха тюрьме, и ключ от этой тюрьмы, возможно, был не у неё, а у него.

Но какой ключ? Какое отмычка могла сработать? Слова? Он не умел говорить так, чтобы его поняли без сверхусилий. Слова давались мучительно, выходили клекотом, их стеснялись, их переспрашивали. Письмо? Сухой текст на экране? Оно могло быть проигнорировано, недопонято. Деньги? Они ничего не значили в этом контексте, они были частью проблемы, символом её дистанции. Что вообще могло пробиться сквозь её толстую, многослойную броню страха, боли и ложных убеждений?

Он откатился к своему столу, на котором, как алтарь нового мира, стоял серебристый ноутбук. Инструмент, купленный на бабочек. Инструмент, который дал голос его внешней тишине. Он посмотрел на его тёмный экран, в котором смутно отражалось его собственное лицо – лицо юноши, в чьих глазах теперь жила не только своя боль, но и понимание чужой.

И тогда ответ пришёл сам. Ясный, чистый, как удар колокола в морозном воздухе. Он пришёл не из головы, а из самого нутра, из того места, где после аварии поселилась тишина, а теперь начинала рождаться новая речь.

Звук. Только звук. Не слово, не буква, не объяснение, не

упрёк и не прощение. Чистый, невербальный звук. Звук, который будет говорить то, чего не скажешь словами. Звук, который будет мостом. Мостом через её молчание и его немоту. Мостом через годы разделения, через боль, через непонимание. Звук, который расскажет ей о его боли – не с упреком, а с констатацией. О его одиночестве. О его странном, тихом мире. О его понимании её страха. И о его... о его любви. О той любви, которая в нём осталась, несмотря ни на что. Которая не боялась ранить, потому что была единственным, что не сломалось в нём после аварии. Единственным, что не требовало движений, чтобы существовать.

Ему нужно было создать не музыку для конкурса молодых композиторов, афишу которого он видел в витрине. Не сложную симфонию для утешения бабушки. Ему нужно было создать личное, интимное послание. Бутылку, запечатанную не пробкой, а тишиной. И бросить её в бурное, холодное море её одиночества. Без гарантий, что она будет найдена. Без надежды на ответ. Просто потому, что он не мог больше молчать. Теперь, когда у него был голос.

Он подкатился вплотную к столу, нажал кнопку включения ноутбука. Синеватый свет экрана озарил его решительное, сосредоточенное лицо, высветил тени под глазами. Он открыл программу. Создал новый проект. Чистый, девственный, без названия.

И пока в кухне бабушка громко, почти демонстративно хлопотала, гремела чашками и кастрюлями, пытаясь заглу-

шить своё расстройство бормотанием о ценах на гречку и безобразиях в управляющей компании, Ваня начал творить. Не для славы. Не для признания. Не для исцеления. Для одного-единственного слушателя на другом краю страны. Слушателя, который, как он теперь знал, боялся слушать, потому что боялся понять.

Он назвал файл без лишних эмоций: «Мост_из_тишины.wav». И сделал первую, самую важную, основополагающую запись. Он включил микрофон, подкатился поближе, закрыл глаза и просто... задышал. Записал звук своего собственного, неровного, иногда со свистом на вдохе, прерывистого дыхания. Того самого дыхания, которое было фоном его жизни после аварии. Фундамент. Самое начало. Самое простое и самое сложное. Потом был стук сердца, записанный через старый стетоскоп, который он нашёл в медицинской аптечке. Потом – пауза. Длинная, нарочитая, пустая пауза. Место для её дыхания, которого не было.

Мост начал строиться. Не из стали и бетона. Из тишины, звуков и молчаливого вопроса, брошенного в пустоту.

Глава 6. Мост из тишины

Ночь опустилась на город не постепенно, а рухнула сразу, густой, бархатной тяжестью, впитавшей в себя дневное напряжение и осеннюю сырость. За окном не было ни звёзд, ни луны – сплошная облачная пелена, поглотившая все световые маяки, все признаки жизни. В квартире, после недавних баталий на балконе, воцарилась тишина, но не та, уют-

ная, предшествующая глубокому сну, а напряжённая, звенящая, словно натянутая струна, готовая лопнуть от малейшего прикосновения. Анна Ивановна легла спать рано, сославшись на сильную головную боль – её классический дипломатический приём, означавший «я обижена и не желаю разговаривать». Из-за её двери не доносилось привычного скрипа кровати или шуршания страниц читаемой книги. Была только полная, почти демонстративная тишина – её способ показать глубину разочарования и дать ему время «образумиться и прийти к правильным выводам».

Ваня не спал. Сон был немыслим. Внутри него бушевало, клокотало и требовало выхода то самое чувство, которое он раньше не мог ни назвать, ни выразить – острая, почти физическая потребность в диалоге. Немой крик души, ищущий не просто слушателя, а собеседника. И теперь, с находкой на балконе, этот крик обрёл не только причину и содержание, но и точного адресата. Он больше не был абстрактным воплем в пустоту. Он был посланием. И ему нужна была форма.

Он сидел перед ноутбуком в полной темноте своей комнаты, освещённый лишь холодным, призрачным сиянием экрана. Отключил все лишние программы, уведомления, даже индикатор Wi-Fi. Оставил только аудиоредактор с его бесконечными, горизонтальными дорожками, которые на экране были похожи то ли на спектрограммы далёких звёзд, то ли на карты неизведанных, нервных материков. Новый проект, названный им «Мост_из_тишины», зиял пустотой. Он начи-

нался с абсолютного нуля. С цифрового безмолвия. Но как построить мост из ничего?

С чего начать любое понимание, любой контакт? С осознания разрыва. С обозначения пропасти, которую предстоит преодолеть.

Он создал первую дорожку и назвал её просто: «Молчание». Но как записать молчание? Микрофон, даже самый чувствительный, улавливает звук – шум кровотока в собственных ушах, гул земли, тиканье часов в соседней комнате. Тишина в чистом виде – это не звук. Это концепция, это отсутствие. Тогда он поступил иначе. Он порылся в своих архивах и нашёл файл «absolute_silence.wav». Это была запись, сделанная глубокой ночью в звукоизолированной кабине на местной радиостанции «Рассвет», куда его как-то возила бабушка по знакомству с техником. Он провёл там десять минут, и три из них записал – цифровой ноль, эталонную тишь. Он поместил этот трёхминутный отрезок на дорожку. Но этого было мало. Это была просто пустота, вакуум. Ей нужна была форма, рамка, контекст, чтобы её почувствовали как молчание, а не как технический артефакт.

Он создал вторую дорожку прямо над первой. Назвал её: «Детство. Попытка голоса. До». Он порылся в глубоких архивах, в папке «Старое». Где-то должна была быть... да, вот она. Файл с невнятным названием «Ванин лепет. 4года.wav». Старая, скрипучая запись, сделанная на древний кассетный диктофон «Весна», который бабушка включала, пытаясь за-

фиксировать его успехи в речи до аварии. Ему было четыре года. Запись была ужасного качества, с фоновым гулом и шипением, но она была живой.

Он выделил крошечный фрагмент. Всего три секунды. Свой собственный, детский, тонкий голосок, сдавленный каким-то внутренним спазмом (даже тогда, до травмы, речь давалась тяжело), пытающийся выговорить самое простое, самое важное слово: «ма-ма». Получалось «м-м-ма-а-а...». Растянутое, хриплое, полное невероятного мышечного и психического усилия. Он прослушал этот обрывок раз, другой, третий. Сердце сжалось в комок болезненной нежности и жалости к тому маленькому, не ведавшему беды мальчику. Каким мучительным, каким героическим был для него этот простейший акт! И каким абсолютно важным.

Он вставил этот трёхсекундный фрагмент в самое начало композиции. Резко, без прелюдий. Потом – мгновенный, оглушительный обрыв и погружение в ту самую, трёхминутную тишину из первой дорожки. Но тишина теперь воспринималась совершенно иначе. Она перестала быть нейтральной. Она стала осмысленной. Она стала ответом на эту робкую, детскую попытку. Вернее, отсутствием ответа. Звенящей, давящей пустотой, в которую упало слово «мама» и не получило отклика.

Третья дорожка. Её он назвал: «Голос присутствия. Бабушка». Он долго выбирал. Нужен был звук не просто голоса, а голоса любви, которая не боится быть слышимой. Он

выбрал запись колыбельной. Ту самую, старую, «Спят усталые игрушки». Анна Ивановна пела её ему уже после аварии, когда ночные кошмары и физические боли не давали уснуть. Она пела негромко, немного фальшивя на высоких нотах, но с такой бездной выносливой нежности, усталого тепла и абсолютной преданности, что даже в сжатом цифровом файле это ощущалось кожей. Он взял кусок, где её голос на слове «баю-бай» слегка дрожит и срывается – не от слабости, а от переполнявшей её в тот момент боли за него. Это был голос той самой, «кричащей в лицо миру» любви, которая не пряталась, а вставала на дыбы, как медведица. Он вставил этот двадцатисекундный фрагмент следом за тишиной, прямо поверх неё, сделав его немного громче. Как контраст. Как живое, дышащее доказательство того, что любовь может и должна звучать. Может быть слышимой, ощутимой, конкретной.

И снова – тишина. Но уже другая. После тёплого, живого, с хрипотцой голоса бабушки, эта тишина становилась не просто отсутствием звука, а отсутствием этого конкретного, недостающего звука. Отсутствием материнского голоса, который должен был быть здесь, в этой звуковой вселенной, между детским лепетом и бабушкиной колыбельной. И эта отсутствующая нота зияла оглушительнее любого грохота.

Вот он, основной конфликт, высеченный в звуке. Три элемента: его немота (детский лепет как символ попытки и её краха), её молчание (огромная, гнетущая пауза), бабушки-

на речь (голос замещения, голос выживания). Треугольник, в котором одна сторона – не линия, а провал, чёрная дыра.

Теперь нужно было наполнить эту пустоту не ожиданием (ожидание – это тоже молчание), а... чем? Пониманием? Слишком разумно. Прощением? Слишком громко, слишком пафосно, слишком похоже на финальный аккорд, а мост только начинался. Нет, нужно было показать саму жизнь, которая текла вокруг этой пустоты. Жизнь, в которой он существовал без неё.

Он создал четвёртую дорожку и назвал её «Фон. Звуки жизни без неё». Это был сложный, многослойный коллаж. Он взял по десять-пятнадцать секунд из своих лучших, самых атмосферных записей: протяжный, одинокий скрип качелей во дворе (символ одиночества и застывшего времени); ровный, навязчивый гул трамвая «Татра» вдалеке (движение, путь, удаление); внезапный, звонкий взрыв смеха детей во дворе (радость, нормальность, от которой он был отрезан после аварии, да и до неё тоже); монотонное, неумолимое тиканье больших настенных часов в зале (время, которое лечит и калечит одновременно, время её отсутствия); убаюкивающий, печальный шум осеннего дождя по карнизу (общая меланхолия, слёзы мира). Он наложил эти звуки друг на друга, но сделал их очень тихими, приглушёнными, размытыми, как воспоминания, пришедшие во сне, как фоновая радиопомеха, на которой разворачивалась основная драма тишины и голосов.

Этот звуковой фон появлялся на несколько секунд в промежутках между смысловыми блоками, потом стихал, растворялся в той же тишине, уступая ей место. Потом возникал снова – уже в другой, слегка изменённой комбинации. Как будто жизнь за окном, жизнь в городе, жизнь вообще – шла своим чередом, с её мелкой болью и мелкой радостью, а в центре этого безразличного потока – неподвижная, безмолвная точка. Он. И его ожидание. И её отсутствие.

Работа шла медленно, кропотливо. Каждый звук он подбирал с ювелирной, почти болезненной точностью, сверяясь не с разумом или правилами композиции, а с внутренним, почти животным чувством – щемит ли в груди, режет ли по нервам. Должен ли здесь быть звук ветра? Да, но не свистящий в листве, а тот низкий, гудящий стон, что возникает в телевизионной антенне на крыше их дома – одинокий, технологичный, искусственный вой. Должен ли быть голос из телевизора? Да, обрывок какой-то старой советской передачи о путешествиях, голос диктора, вещающий о «бескрайних просторах нашей родины». Горькая, чёрная ирония, которую он вкладывал в этот выбор, была ему понятна одному.

Так прошло больше двух часов. Получившаяся композиция была абстрактной, мрачноватой, без намёка на мелодию или гармонию в привычном, музыкальном смысле. Она была больше похожа на документальную звуковую зарисовку, на психологический портрет, вылепленный из шумов и пауз. Но ему не хватало главного. Стержня. Не метафоры, а самой что

ни на есть физиологической, биологической правды. Сердца. Не как символа, а как органа.

И тут его осенило. В нижнем ящике своего стола, средихлама вроде старых карандашей, сломанных CD и прочего медоборудования, лежал старый, ещё советский, в жёстком футляре стетоскоп. Его как-то забыл или подарил на память доктор Семёныч, пожилой невролог, который навещал его в первые, самые страшные месяцы после аварии. Бабушка, с её страстью к сохранению всего «на всякий случай» и «как память», аккуратно убрала его.

Он откатился к столу, на ощупь в темноте нашёл футляр, открыл его. На свет экрана выплыли знакомые очертания: холодные чёрные ушные оливы, резиновая груша, плоская, холодная мембрана. Он приложил мембрану к своей груди, слева, туда, где под тонкой кожей и рёбрами бился, тарахтел, жил его мышечный насос. Звук через трубки был глухим, булькающим, как будто из-под воды. Нужно было записать это напрямую.

Он подключил к ноутбуку небольшой, но чувствительный петличный микрофон «Ласточка», который обычно использовал для записи уличных звуков с близкого расстояния. Примотал микрофон к мембране стетоскопа изолентой, стараясь сделать это одной левой, не слишком послушной рукой. Получилось неаккуратно, клубок изоленты торчал в сторону, но конструкция держалась.

Он снова приложил импровизированный датчик к груди,

поверх майки. Надел наушники, включил запись в программе. И услышал.

Услышал себя изнутри. Так, как не слышит никто. Ритм был неровным, сбивчивым, с лишними экстрасистолами – последствиями травмы и долгой гиподинамией. Это не был идеальный, механический метроном, как в учебниках по биологии. Это был живой, страдающий, упрямый, выматывающийся, но всё ещё работающий орган, который, несмотря ни на повреждения нервной системы, ни на атрофию мышц, ни на всё его горе, продолжал свою титаническую, невидимую работу. Ту-тум... пауза подлиннее... ту-тум-тум... снова пауза... ту-тум... Он слушал, зачарованный и потрясённый. Это был самый честный, самый обнажённый звук из всех возможных. Звук его жизни в её самом примитивном, самом непреложном проявлении. Его особого, сбитого ритма, о котором говорила бабушка.

Он записал целую минуту. Потом, с ощущением, будто подсмотрел за самой природой, осторожно отложил стетоскоп. На экране появилась новая звуковая дорожка – она была похожа на ряд невысоких, но частых, острых горбов, сливающихся иногда в более широкие волны. Визуализация его сердечных сокращений. Кардиограмма души, выведенная не линией на бумаге, а звуком в эфире.

Он очистил запись от посторонних низкочастотных шумов (гула холодильника, собственного дыхания), немного усилил низкие частоты, чтобы стук стал плотнее, весомее.

Получился глухой, но мощный, первобытный, почти звериный стук. Звук существа, которое цепляется за жизнь. Несмотря ни на что.

Куда его вставить? В самый центр композиции. В эпицентр молчания. После всех голосов, после всех фоновых звуков жизни, после долгой, тягучей, специально растянутой паузы, которая должна была создать ощущение пустоты, ожидания, недоумения. Он поместил дорожку с сердцебиением ровно посередине временной шкалы. И сделал её громче всего остального, кроме, может быть, детского лепета. Это был момент истины. Молчаливое, но оглушительное заявление: «Я есть. Я жив. Я чувствую. И это чувство – стук моего сердца – оно постоянно. Оно и есть доказательство моего существования вопреки всему».

А после сердца... что? Что может последовать за таким интимным, таким шокирующим откровением? За выставлением напоказ самой сокровенной механики своего тела?

Примирение? Просветление? Нет. Слишком просто, слишком патетично. Жизнь так не работает. После откровения часто наступает ещё большая тишина.

Он подкатился к окну, откинул штору. Ночь за стеклом была непроглядной, чёрной, как чернила. Ни огонька. И в этой абсолютной, казалось бы, тишине он вдруг услышал. Совсем близко, под самым его окном, на голой, мокрой от дождя ветке той самой старой берёзы, что росла под их балконом, села птица. Не журавль, конечно, что-то мелкое – мо-

жет, воробей, затерявшийся во тьме, или поздно улетающая синица. И запела. Одинокая, ночная трель, короткая, вопросительная, полная неуверенности и тоски. И снова тишина. Полная, напряжённая. И через несколько секунд – снова трель. Теперь чуть громче, настойчивее.

И это было оно. Ответ. Не словесный, не логический, не человеческий. Природный. Стихийный. Жизнь, продолжающая свою бессмысленную, прекрасную песнь даже в самой глубокой, беспросветной тьме. Надежда, упавшая с неба не в виде ангела, а в виде промокшего, напуганного, но всё равно поющего птаха. Звук, который был мостом сам по себе – мостом между ночью и утром, между одиночеством и стаей, между отчаянием и инстинктом.

Он бросился к микрофону, распахнул форточку. Холодный, влажный, пахнувший прелыми листьями воздух ворвался в комнату. Птица, испугавшись скрипа рамы, резко умолкла. Он замер, не дыша, рука на кнопке записи. Ждал. Сердце колотилось теперь уже от нетерпения. Прошла минута, показавшаяся вечностью. И тогда, робко, несмело, она запела снова. Сначала тише, потом, ободрившись, громче. Он записал несколько её фраз – чистых, хрустальных, несуразно прекрасных в этом контексте.

Вернувшись к компьютеру, он вставил этот фрагмент сразу после сердцебиения. Сначала – одна одинокая, вопросительная трель. Пауза. Потом – ответ. Слабый, далёкий, с другого дерева, может, с соседней крыши. Ещё одна птица. Диа-

лог. Пусть и птичий. Путь в ночи, протянутый через тьму. Это и был мост. Хрупкий, живой, ненадёжный, настоящий. Не выстроенный из громких слов, клятв и обещаний, а возникший сам собой, из глухой, биологической потребности в контакте, в «отзовись».

Он поставил после этого птичьего диалога долгую, чистую тишину. Но теперь эта финальная тишина была принципиально иной. Она не была пустой. Она была наполненной. В ней звучало, отзывалось эхо всего, что было до: мучительная попытка детского голоса, усталая нежность бабушкиного пения, шум жизни за окном, глухой, упрямый стук собственного сердца и, наконец, этот хрупкий, живой диалог в ночи. Это была тишина после высказывания. Тишина, заряженная смыслом, ожиданием, даже какой-то осторожной надеждой. Тишина, в которой мог прозвучать ответ. Или не прозвучать. Но возможность уже висела в воздухе.

Композиция была готова. Он взглянул на временную шкалу: ровно девять минут и сорок три секунды. Ровно столько, сколько он подсознательно чувствовал нужным – не коротко, чтобы не показаться легковесным, и не долго, чтобы не утомить. Он сохранил проект, экспортировал его в файл с высоким битрейтом. Потом надел наушники, откинулся в коляске, закрыл глаза и прослушал всё от начала до конца, не редактируя, не останавливая.

Это было странное, неудобное, глубоко личное путешествие. Не красивое. Не мелодичное. Местами – тревожное,

даже пугающее своей обнажённостью. Местами – бесконечно печальное. Но это была его правда. Не вся, конечно, но её важная часть. Правда, вывернутая наизнанку и представленная в виде звукового ландшафта, эмоциональной картографии. Это был мост, построенный не к матери, а из самого себя – наружу, к миру, к ней. Попытка сказать без единого слова: «Вот я. Вот мой мир. Вот что я слышу каждый день. Вот моя боль, моё одиночество, моя привязанность и моя крошечная, птичья надежда. Я не жду, что ты войдёшь в этот мой мир целиком. Это было бы слишком. Но, может быть, услышав его, ты поймёшь, что твоё молчание – не защита для меня, а ещё одна стена в моей и без того тесной клетке. И что мне не страшна твоя любовь, какой бы ранящей, неидеальной, сложной она тебе ни казалась. Мне страшна только эта пустота, это отсутствие. Молчание, которое громче любого стука сердца».

Он сохранил финальный файл с именем «Most_iz_tishiny_full.wav». Теперь оставался самый сложный, самый волнительный шаг – отправка. Просто так, без пояснений, без предисловий. Любое слово, любая подпись, даже «Привет» или «Это Ваня» – разрушили бы хрупкую, выстроенную с таким трудом магию этого невербального послания. Она должна была получить его «как есть». Чистый звук. И интерпретировать его. Или не интерпретировать. Принять или отвергнуть. Это был бы её свободный, взрослый выбор. Он не мог его предугадать и не мог на него по-

влиять.

Он нашёл в адресной книге браузера её email. Тот самый, строгий, рабочий, на который бабушка иногда отправляла сканы его медицинских документов, справок для соцзащиты. Он никогда им не пользовался лично. Прикрепил файл. В поле «Тема» оставил пустым, просто пробел. В поле для текста письма – тоже чистое белое поле. Просто чистое, безликое письмо с одним-единственным вложением, название которого говорило само за себя.

Палец его левой руки, холодный и слегка подрагивающий, завис над левой кнопкой мыши, виртуальной кнопкой «Отправить». Сомнение, холодное, липкое, рациональное, поползло по спине, сжало горло. Адреналин сменился леденящей душу трезвостью. А что, если она не поймёт? Если для неё это будет просто набором странных, неприятных шумов? Если ей будет больно, неприятно, она сочтет это манипуляцией, эмоциональным шантажом, вторжением в её тщательно выстроенную дистанцию? Если она просто удалит письмо, даже не открыв вложение, сочтя его спамом или ошибкой? Всё его мучительное творчество, вся эта ночная исповедь – в никуда. Он выставит себя дураком, уязвимым и наивным.

Он вспомнил надпись на обороте рисунка, которая теперь горела у него в мозгу как татуировка: «Боюсь, моя любовь ранит тебя ещё сильнее». Она боялась. Боялась своей любви, её последствий. Он тоже боялся. Боялся её безразличия, её непонимания. Но разве страх был уважительной причиной

для того, чтобы ничего не делать, чтобы продолжать жить в параллельных, не пересекающихся реальностях? Его бабушка не боялась. Она продавала фамильные драгоценности, спорила с тупыми чиновниками, учила его бороться с собственным телом. Она жила, невзирая на страх, потому что любовь для неё была действием, а не рефлексией. Может, и ему пора перестать быть эхом её страхов и начать действовать, пусть и в своей, тихой манере?

Он с силой, почти яростно, нажал кнопку.

Письмо ушло с тихим, условным свистящим звуком, который издавала почтовая программа. И всё. Никаких фанфар, никакого драматичного сообщения, только сухое, зелёное уведомление в углу экрана: «Письмо отправлено. 03:17».

Он откинулся в коляске, выжатый, как лимон, опустошённый. Адреналин, который гнал его вперёд все эти долгие часы, ушёл, оставив после себя вату в ногах (которых он почти не чувствовал) и мелкую дрожь в единственной более-менее послушной левой руке. Что он только что натворил? Послал в цифровое пространство, на другой конец страны, свою самую уязвимую, самую незащищённую часть, свою звуковую душу, на растерзание равнодушию, непониманию или, что хуже всего, жалости.

Он выключил ноутбук. В комнате наступила кромешная, физическая тьма, нарушаемая лишь слабым, больным светом далёкого уличного фонаря, пробивающимся сквозь щель в занавеске. Он сидел в этой тьме неподвижно, прислу-

шиваясь. К своему сердцебиению, которое теперь казалось ему громким, как барабанная дробь в пустом зале. К прерывистому, тяжёлому храпу бабушки за тонкой стенкой. К монотонному, вечному тиканью кухонных часов с кукушкой, которая давно сломалась.

Он совершил акт. Возможно, глупый. Возможно, наивный до слёз. Возможно, обречённый. Но это был его акт. Его личная, осознанная попытка выйти из роли пассивного получателя денежных переводов и гробового молчания. Его заявка на диалог, пусть и в такой, эксцентричной, невербальной форме. Он больше не был просто объектом заботы или проблемой. В эту ночь он стал субъектом. Автором. Творцом, который послал в мир своё творение, рискуя быть осмеянным или проигнорированным. И это давало странное, горькое, но настоящее право. Право на собственный голос. Пусть даже этот голос был собран из обрывков тишины, детского лепета, усталой колыбельной, городского шума, стука собственного сердца и птичьего щебета в крошечной тьме.

Он добрался до кровати, совершил привычный, отработанный до автоматизма, но от этого не менее унижительный манёвр по пересаживанию с коляски, укрылся одеялом с холодными краями. Но сон бежал от него, как от прокажённого. Перед глазами, даже закрытыми, стоял экран с разноцветными волнами звуковых дорожек. В ушах, даже в тишине, звучала та самая, одинокая, вопросительная трель птицы в ночи. И этот глухой, назойливый стук. Его собственного,

особого, сбитого ритма.

Он не знал, не мог даже предположить, что будет дальше. Но странное спокойствие, похожее на опустошение после бури, медленно разливалось по его телу. Он больше не боялся этой неопределённости. Потому что теперь между ними висел мост. Хрупкий, звуковой, невидимый, висящий в цифровом пространстве где-то между серверами Москвы и их провинциальным городом. И даже если мать не услышит, не поймёт, не пройдёт по нему навстречу, сам факт его существования менял всё. Менял его. Он перестал быть жертвой обстоятельств. Он стал тем, кто эти обстоятельства пытается изменить. Пусть даже одним-единственным, тихим звуковым файлом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.